

ВЛ.

ЛИДИН

Морской

СВО

ЗНЯК

ИЗДА-СТВО

Л.Д. ФРЕНКЕЛЬ

ПЕТРОГРАД



ВЛ. ЛИДИН

МОРСКОЙ СКВОЗНЯК

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ

Москва

1923

Петроград

ТИПОГРАФИЯ
„КРАСНЫЙ
ПЕЧАТНИК“
ПЕТРОГРАД
Международн., 75

Петрооблит № 2075
5000 экз.



„Чаще всего флюс пронаходит от сквозняка“. (Из старого лечебника).

СКВОЗНЯЧЕК.

I. Там, где раскидывалось взбаломученное, заново скроенное море Европы — шел дождь. Дождик был тепленький, тихий. Вдоль балтийского побережья, над голеющим Александровским парком Риги, где в озерах луж мутно несло серое небо; над Себежом, избежавшим по взгорью землянками; над гнилою канавкою, где по одну сторону — шлемы с раной пятиконечной звезды и по другую — каскетки с галунами; над окопами Зилупе, еще не залеченными со времен войны; над Литвою Ягелла и Витовта, где дрогли на вокзалах солдаты бывшего ковенского гарнизона в летних гимнастерках; над серо-пепельным Берлином с его голубоватым асфальтом, уже впитавшим желтое сало огней; над дымно-туманным, просторным, осенне-хмурым Лондоном — дождь шел повсюду.

Об осени в Европе еще думали мало. Черные пионы зонтов распускались привычно, как и все дождливое лето; каминные и печи изредка протапливали углем; извозчики еще не заскорлупились своими каретами Пикквиков и мадам Бовари, только обертывали ноги одеялами, да коптили сизые носы короткими носогрейками. В дождевых пальто, под зонтами, так же,

как и в обильные дождями летние дни, спешила деловая толпа сквозь сиренево-дымные улицы, вдоль которых уже проливалось желтое масло витрин, и беспечно взлетала над улицей золотая бутылка Seckt, наполняясь электрическим шампанским, вскипающим золотыми пузырьками в дымное осеннее небо Берлина.

Об осени знали только в России. Жирным туманом оседала она над петербургским портом, откуда в сырую осеннюю волю уходил пароход на Штетин; над полями, на которых в пнейные утренники курчаво белела атава; над Каретным рядом в Москве, где в переулке в отделе выдачи пропусков сидели евреи с пейсами Авраама, дамы с карминными губками и кожаные деловые куртки. В отделе выдачи пропусков, похожем на контору Кука, был сквознячек. Сквознячком распахивалась дверь, за которой были моря и бары, и лучшие клиники, фокс-тротты и экспрессы — был европейский простор; и тогда все евреи и дамы с карминными губками бросались затворять дверь, чтобы за дверью, там, не подумали, что это кто-нибудь смеет лезть — и что это: лишь сквознячек...

И хоть сидели на скамейках и не было ничего, кроме окурков и объявлений, — прислушаться если: тропот колес и некая сладкая тошнотворная зыбкость пола, и запах сигары, европейской прочной сигары, когда хочется напевать и хмелеть под сонливую негу оркестра... И в конторе Кука, рядом с евреем с пейсами Авраама, ехавшим на далекую землю Америки, чтобы сомкнуть там навеки карие обвислые глаза и рядом с карминною дамочкой, — сидели два человека: Никита Павлыч Невтонов, который двадцать два года сидел за своими колбами и ретортами, чертил студентам грифелем жидкие формулы и бегал хлебать

жидкий суп в столовую „Друг желудка“, — и которого посылали теперь узнать, что же великого придумали в Европе ученые за пять лет; и Василий Петров Прокопов, красный директор из слесаря, ехавший менять на машины и тракторы лен, пеньку и щетину.

В России, где уже знали об осени, пилили на зиму дрова и прятали в сарай и где из логовов высовывали хмурые, насморочные носы, ожидая осеннего уплотнения, — в России тоже шел дождь, но не такой, как вдоль балтийского побережья. В России дождь был холодный, надоедливый, разбивал землю, размывал глину, потеками оседал на домах, и в России шли в городах без зонтов, с лосскими плечами, спотыкались на бугорках, увязали на проселках в глине с лошадьми; матюкали и били дымящихся лошадей по мордам.

Россия пять лет была в войнах, и были в России только вшивые поезда, голод, тиф и одна саможатка, на выставке, а в Америке каждый фермер имел по такой саможатке, — и пять лет, пока бурлила и извергалась лавой Россия, входило в берега взбаломученное море Европы, остывая после войны, кратерным замыкаясь разливом на карте, где только моря лежали еще в своих берегах... Уже распахали для новых посевов разбитые поля Фландрии, и грохотали паровые краны в Антверпене, и новое здание банка строили в Берлине, уже прочерчивались наново по меридианам народы, оседали государствами, заводили дипломатические кабинеты, устанавливали таможенные пошлины, просверливали коридоры, через которые везли в запломбированных вагонах, визировали паспорта, участвовали на международных конференциях, устраивали парады

войск, сменяли кабинеты министров, прежде всего обзаводясь полицией и контр-разведкой; еще свежее краской блестели пограничные столбы, и бодро отбирали паспорта и рылись в вещах бравые пограничники. Уже заново перелицевались серые шинели германской армии на модные пальто в талию и на колокол ульстера; сменились краги и сапоги на остроносые ботинки и туфли; перекроились кепи и каски в промятый фетр; уже вернулись в свои банки, конфекционы, кафе и рестораны майоры ландвера, и только не сгибалась упрямо деревянная спина лейтенанта за грессбухом банка, белея оголенным по последней моде затылком с чолкой пробора над масляным лбом.

Уже новые ткани зыбко, золотисто, крылато раскинулись вместо горчишных и траурных, толпы молодых женщин, только недавно сменивших траур по мужьям и любовникам, расплескались вдоль галлерей, и в пять, когда сиренево-дымчат Берлин и лиловы дома, золото струится витрин, и только колокол мерно, угрюмо над шпилем кирхи напомнит о сроках, протрубит ненужно о великих днях побед и старой славы, — в пять ударит разбитым стеклом оркестр джаз-банд, заскулят скрипки, свистнет свистун — и рассыплется мелким железом, мяуканьем, автомобильным гудком, — в пять поплывет Европа, прикикая в фокс-тrotте, колышась в жимми, щека к щеке, с застывшей улыбкою дервиша... Там, позади, годы потерь и побед, и окопы под плюхающим дождем, и могилы, могилы, могилы, — но крепок дух прочной сигары, и вот взлетает и сыплется вниз сумасшедшая музыка негров, снежно-белы вырезы смокингов и матово присыпаны пудрой открытые плечи, и уже несется легкий, зыбкий, танцующий мир...

В пять часов колышется пары, в пять часов легкий дух шоколада, сигар и чуть слышимый запах лука от потеющих женских подмышек. И в пять часов, вдоль синеющих улиц, уже прожженные золотом витрин, движется толпа под зонтами, липнут на мокром асфальте цепь за цепью жуки мутноглазых моторов и вылетает из недр на волю суставчатой желтой змеею поезд подземной дороги и дальше несется вверх по американской чугунной горе. Бетонной грудью вперед в мутнеющий сумрак плывет тяжелый дреднот со своими зеркальными стеклами, за которыми ткани и ткани, обувь, чемоданы, духи — тот чудовищный торговый корабль, где сотни молоденьких продавщиц, и сотни проборчатых молодых людей, из которых каждый надеется со временем стать управляющим, и сотни покупателей: те нежные, пепельноволосяе северянки, которых укрывают в меха и везут в глубине безшумных моторов с непокрытыми головами прочные крепкоскулые мужчины, что розовой миндалиной ногтя очеркивают новую цифру, вскочившую в десять утра на биржевом бюллетене; и влажноглазые тяжелые женщины с розовой кожей, темным пушком над губой и крупными чертами чувственных лиц, словно созданных для южной истомы; и кроткие, яблочно-желтые китайцы в круглых очках, откуда смотрят проворные черные глазки на невиданный мир, уже прочно осевший на золотые плечи старого Будды; и сизозекие американцы, для которых безмерно раскинулся этот простор потрясений и войн, и перекроек карт, и русского голода...

Еще едва отмяукали скрипки и кончились одни танцы, а уже перекрывают столы крахмальными скатертями лакеи для танцев вечерних; еще движется

предвечерне из улицы в улицу толпа и огненным зевом сигар раскалывается смуглость лиц, и на углу kloкочущей площади еще сдерживает белой перчаткой зеленый полицейский, в зеленых обмотках и каске, лавину моторов, велосипедов, канареечно-желтых омнибусов, и застыл на черте его белой руки тяжелый мохнатый першерон, но протрубил рожок, опустилась рука, и дальше покатились лавины; еще нажимают потнолицые малые педали своих велосипедов-кареток, а уже вспыхнула в грифельной тьме над бетонным ковчегом искрящаяся золотая бутылка, испаряясь золотом вверх, в ту несущуюся космическую сферу лохматых облаков, играющих радугой оранжево-сизой бутылки ликера, несомой ими, как крестный знак извечной их прикованности к земле...

И уже пришел дредноут к пристани. Вот медленно причалил он к сизому молу вечера, и разом из всех его трюмов, кают и мостков, со всех стеклянных переходов полились толпы молодых людей в котелках, в фетровых шляпах, молоденьких женщин, по-вечернему бледных из-под полей модных шляп, — и вот уж несутся по суше все эти ульстеры, котелки, гетры, белые усики и сливно-сизые подбородки, сваливаясь в кафельно-асфальтовые колодцы, всползая на крыши омнибусов, избегая на вокзалы штадтбана. В колодцах тишина, сыроватое тепло подземелья, смутный грохот надземного мира, — и вдруг из тьмы распертого земного недра легкий суставчатый поезд, миг один — расшаркнулись двери, выплюнули и заглотнули толпу, в белом под'ятом диске зажегся зеленый жучок фонаря, — и снова блеск рельс, грохот несущихся мимо бетонных стен, зеленые огни, как бы ядовитое дыхание этого вспоротого брюха города, — и вдруг

легкий просвет, шире, все шире, — взлет наверх, и вот внизу уже город с мокрым асфальтом, с золотой грядой растущих, тающих, возникающих надписей, вывесок с вереницами кляч в наглазниках у извозничьей биржи и раскинутой цепью трамваев, нанизанных как редкие бусы на дольний изгиб двух шнуров. И уже дальше стекает толпа по лестницам и переходам, пока уносится поезд, мигая назад окровавленным глазом.

Час лишь один вздыхал утомленно город, напиваясь сизым туманом, потускнели витрины, и уже вышли на улицы женщины, те, что гуляюще-зыбкой походкой проходят неспешно, задерживаясь на углах и блестя золотыми зубами; и уже по-иному приматы шляпы и рдеет сигара, едва сдавленная зубами, и за легкою дверью кафе прочные запахи отдыха, тепло, и струны, и дым сигаретт. Под янтарно-канифольной струей опушаются кружки легким мехом пены, привычная рука палкой сбивает ее, и с гирляндою кружек на пальцах проносится потный обер. Уже смутною тяжестью наливаются ноги, легкий хмель оседает на веках, и дальше в ночную резвую сырь идет человек. Еще зыблются белые вырезы смокингов и прикикает в фокс-тrotте открытая грудь к шелковым лацканам под завинченной спиралью джаз-банда; еще по-королевски медлительны манекенщицы, в мехах и шелках, на подмосках гиганского театра; еще не всех изрыгнули жирные надписи вывесок и не дошел еще человек, налитый хмелем сигары и солода, до кафельного колодца, — а уже перешел вечер в ночь, уже фиолетовым пламенем дышат углы с ночными сосисками для того бездомного города, который жметя под чугунными арками, прогуливается зазывной походкой, выползает из каменных щелей, чтобы сгинуть наутро

бесследно. Час-другой — пронеслись последние цепи моторов, взлетела из глуби пустая змея, и уже идут музыканты с коконами своих инструментов, стекаясь к ночному буфету вокзала — оплеснуть на ходу сохлое горло на весь длинный путь через город. В часы эти слышен шорох листвы, и гуще катятся листья в аллеях Тиргартена, где, над смутностью мрамора, шумят и шумят в ночи распластанные сквозные купы. Это сон города.

ГОСПОДИН МОРИЦ ФИШМАН.

II. Дождик шел седенький три недели подряд. Балтийское побережье было в тумане, на море шла крупная беглая волна, пахнувшая фосфором. В Риге были лужи, мокрую листву сносило в Александровском саду, и над памятником Майкапару, где над гранитными ступенями Майкапар стоит как бы национальным героем изображением чернокожих, грузящих для него, Майкапара, табачный лист, — над памятником Майкапару дождь шел серою сеткой, разрываемый ветром.

Три рыбацьи шхуны, полные камбалы, долго боролись в море с ветром и пошли на северо-восток, переменяя курс. День был дымчат, рано засерел; на базаре, где сидели белобровые, краснорукие жены рыбаков за своими судками под звенящей проточной струей, выметали уже мокрую чешую; тяжелая платиново-смузлая рыба разевала круглые рты, вздувая жабы; на базаре еще пахло морем и осеннею влагой, каштаны в городе сыпали мокрый лист, и вдоль белых стен мелко курчавились красные листья винограда. Но день уже дымился перед туманным концом, медленно пролезал меж готикой старой Риги, где зеленые жалюзи, пики домов, вколотившихся в мутные чрева облаков, сумрак днем и розовые старушки в черных боа с корзиночками для провизии.

По Риге весь день шел, не спеша, народ: все шло размеренно, и у всех были студенисто-синие глазки, как Балтийское море. Белые усики мужчин и круто-выбритые подбородки, и у женщин красные десны и прочные мясовитые ноги, и хорошие зады для скорых и удобных родов — все было очень прочное. В городе еще никто не думал об осени, и молодые люди шли в распахнутых пальто из контор, где весь день был сумрак и шелканье счетов. Их толстые носы и розовые галстучки улыбались добродушно, ибо все молодые люди были устроены, служили в торговых делах старой готической Риги, и в семь, сверх всего, можно было зайти в то роскошное кафе „Атэ“, где мяукают скрипки и где всегда узнаешь много интересных новостей: на сколько поднялся доллар, и правда ли, что Красный флот вышел в море и идет по направлению к Риге и что в Москве арестованы все ювелиры; кроме того, можно узнать, какие партии имеют шансы на выборах, на выборах, которые будут через несколько дней, — даже водочные магазины получили уже предписание не торговать в этот день допель-кюммелем, чтобы не было эксцессов. Правительство принимает все меры к тому, чтобы не было эксцессов. Самое ужасное, когда возможны эксцессы: тогда цены на бирже начинают скакать, как угорелые кошки, и можно сразу потерять все, что накоплено осторожной игрой. Правда, можно сыграть на понижение, но если бы знать наверно заранее... надо только иметь добрых знакомых в полиции или министерстве, которых тоже заинтересовать в игре...

Латвийский паспорт:—Мориц Фишман, занятие — ювелирное дело на Александровской. Оптанта из РСФСР,

откуда бежали все видные коммерсанты и приняли латвийскую, эстонскую, курляндскую, польскую оптации, потому что нельзя заниматься коммерцией в стране, где правительство арестовывает самых положительных биржевиков и ювелиров. Разве можно в этой стране выставить в витринах бриллианты и зажечь над ними огни, чтобы жемчужно-зелено горели камни на бархате,—когда арестовывают ювелиров, или вдруг подлетят на машине бандиты. Камни должны сиять целый день, как сияют они в витринах на Александровской: они должны привлекать богатых, они должны напоминать всем, кто играет на бирже, что лучшее средство обеспечить излишек денег—это камни. Слава Богу, камни в Европе не дешевают, а дорожают пока что...

Господин Мориц Фишман в половине седьмого вечера, когда уже томятся приказчики, а часы наперебой отбивают гусиными голосами время и ползут, ползут гусеницами,—в половине седьмого Мориц Фишман показывает покупательнице камни. Господину Морицу Фишману тридцать три года; у него замшево-бритый подбородок, два Балтийских моря в линиях сиреневых глазках, элегантный серый галстук с розоватой жемчужиной, крутые стекла пенсне и стриженные, соломенно-белые усики над ровной белозубой улыбкой, сияющей тремя золотыми коронками. Он элегантен, положителен и знаменит во всей торговой Риге. Пальцы у него теплые, живые, сияют розоватой эмалью, камни теплятся в мягких ладонях, как светляки, и вспыхивают по-особенному. Покупательница в мягком шелковом котике, розовопудрая, подбородочек чуть двойной, глаза—черные миндалины, над губою, над прелестной карминною губою—пушок. Серая замшевая перчатка свернулась, как кошка, на стекле прилавка. Черные

миндалины то застилаются, то взблескивают, окунаясь в два Балтийских линиялых моря. Острый ноготок покатывает камень по стеклу.

— Три с половиной карата, — говорит Мориц Фишман, — лучшая игра, белая бразильская вода. Прошу вас, ваш пальчик.

Живые пальцы с розоватой эмалью, колючие розовые ноготки, два пальца нежно проводят по пальцу, снижая дужку кольца. Черные миндалины взблескивают, туманятся, меркнут, в Балтийском море прибой.

— Роскошная женщина, — говорит Мориц Фишман. — Вы самая роскошная женщина в Риге.

— Нет, кольцо мне не нравится.

Голос у женщины трубный, голубая волна заливает вдруг черные миндалины, напудренные ноздри дрогнули. Там, под котиком, ходит что-то большое, теплое, от чего ноют кончики пальцев...

— Могу я узнать вашу фамилию? — говорит Мориц Фишман учтиво, — вы, вероятно, недавно в Риге, я знаю всех красивых рижанок.

— О! — говорит женщина. — Зачем вам моя фамилия?

— У меня есть книга, куда я записываю все адреса моих постоянных клиентов, чтобы известить, когда получают новости.

— Лучше я сама буду заглядывать время от времени. В Балтийском море отлив.

— Как угодно, madame. Все таки я очень рекомендую именно это кольцо. Тут есть гармония с рукой.

— Вы уступите?

Черные миндалины скатились на песок, возле самого моря. Мелкая волна поднялась, вскипела, смыла их. Живые пальцы бегут, шуршат папиросной бумагой,

защелкнули поверх пакетика резиновый жгутик. Живые пальцы играют зеленым карандашиком, зеленый карандашик вписывает:

— Большая Антоньевская... госпожа...

— Олтар-жевская...

Поворот кассы, легкий запах жасмина (белый, горький), легкая скользь мягкого котика. Мориц Фишман стоит у прилавка, опираясь на локоть; Мориц Фишман скользит на локте, как на оси: стекло витрины, серебряный корабль с парусами, змеи цепочек, смуглый блеск золота, вечерняя Рига: синь, проходят прохожие, девочка за стеклом сплюснула носик; госпожа Олтаржевская вышла, серая перчатка натянулась; проходила медленно мимо, вдруг черные миндалины вспыхнули туманно, обещающе, — госпожа Олтаржевская садилась в экипаж. Мориц Фишман склонил голову, головка в шапочке чуть кивнула; дальше шли прохожие. Часы били, отбивали, ползли, шевеля стрелками, как усиками. Приказчик, не отрываясь, смотрел на часовую стрелку. Мориц Фишман, очнувшись от сини, от стекла, от видения, сказал в'едчиво:

— Напрасно, господин Кроль, вы смотрите так на часы, точно торопитесь домой. Вам придется дожждаться фрау Фишман и отдать ей ключи.

Колючая стрелка часов вдруг дрогнула ножкой, скользнула насмешливо улыбочкой. Кроль сказал:

— Отлично, господин Фишман. Я дождусь фрау Фишман и отдам ей ключи.

Мориц Фишман щелкнул выключателем, витрина погасла; синяя Рига спешила мимо. Он прошел в клетушку за магазин, вымыл руки, почистил пилочкой ногти, выправил карманы брюк, поглядел в зеркало на свой профиль: профиль был лорда.

— Ключи у Кроля, мамахен, — сказал он. — Это хорошо, что вы пришли раньше, надо убрать магазин.

Мориц Фишман четверть восьмого вышел из магазина и пошел, не спеша, грудью вперед, толкая прохожих, окуная женские встречные глаза в теплую влагу своих. Толпа уже двигалась по вечернему, это была торговая Рига, многие знали господина Фишмана и снимали шляпы. Он отвечал на приветствия неторопливо, — дела его, слава Богу, были хороши, не как у некоторых. Магазин его тоже пока не пустует и гоняться за покупателями не приходится; у Фишмана есть еще кредит в Риге, и за-границей может быть тоже кредит, если он захочет... Мориц Фишман заходит на углу в аптеку. В аптеке фарфоровые банки, два шара в окнах — зеленый и винно-красный.

— Добрый вечер, господин Фишман, — говорит аптекарь. Приказчики тоже кланяются ему, кассирша и продавщица поправляют шиньоны.

— Я очень недоволен вашим делом, господин Гаусман, — говорит Мориц Фишман громко, — так вы растеряете всех покупателей. Третьего дня вечером я покупал у вас полдюжины презервативов, и с меня взяли девяносто рублей за полдюжины! Это не годится, господин Гаусман, дело должно быть солидным. Я всегда платил восемьдесят, не может быть, чтобы товар за неделю поднялся на двадцать рублей на дюжине.

— Фрейлейн Блюммель, — говорит аптекарь, — сколько стоят лучшие презервативы?

— Сто шестьдесят рублей дюжина, — отвечает продавщица.

— Ошибки возможны во всяком деле, господин Фишман. При следующей покупке вам засчитают де-

сять рублей. Скажите, господин Фишман, — аптекарь говорит, наклоняясь, — вы, наверное, знаете, что это говорят насчет арестов биржевиков в Москве? Говорят, кроме того, что Красный флот вышел в море.

— Я вам скажу, господин Гаусман, — (это конфиденциально, локоть у локтя на прилавке). — Вся эта авантюра должна кончиться. Пока же главная наша задача — не пропускать заразу в Латвию. Вы знаете, вчера в Зилупе опять арестовали их агента в форме кондуктора с литературой. Наше правительство слишком доверчиво. Слушайте меня, господин Гаусман, голосуйте на выборах за правый список. Нам, коммерсантам, нужен только порядок и чтобы не было пропаганды. Никакой пропаганды!

— Вы совершенно правы, господин Фишман, — аптекарь жмет его локоть. — О, Фишман — это голова, — говорит он восхищенно, когда звякает над дверью звонок, — он умеет думать, этот Фишман.

Вечерняя толпа двигалась. Возле памятника Майкапару горел лиловый дуговой фонарь. Мориц Фишман шел грудью вперед, стекла пенсне взблескивали, руки в карманы модного пальто в талию; он входил в нишу кафе „Атэ“. Он отдал, не глядя, швейцару шляпу, пальто, взбил перед зеркалом галстук, — входил, вошел. Несколько лорнеток вскинулось на него, он шел мимо, не глядя, к террасе, к пустому столику. Двое молодых людей, как гончие, устремились за ним.

— Pikolo, вечернюю газету, — сказал он громко.

— Фишман, зачем вы просматриваете биржевой бюллетень? Я могу наизусть сказать вам все цены. Крепче всего голландские гульдены, верное повышение.

Первая гончая жарко дышала, щеки ее собирались складками и распускались, — молодой человек был

памятый, как носовой платок, молодой человек был Прусс, Яков Прусс. Молодой человек собирал щеки, распускал их, глядел жадно на стакан кофе с пеною взбитых сливок.

— Хотите кофе, Прусс,—сказал Мориц Фишман. — И вы, Мировиц, хотите? Берите кофе, я плачу. Pikkolo, два стакана кофе, без сливок.

Гончие задышали, придвинулись, сбоков стало тесно, впереди, в просвете, положив ногу на ногу, сидела женщина. Нижняя губка у нее была карминная, нога в шелковом чулке в туфельке лодочкой.

— Кто эта женщина, Мировиц?—спросил Фишман. — Прехорошенькая кокотка. Что вы ко мне лезете со своими фунтами? Смотрите, она мне улыбается. Наверно, роскошная кокотка из Берлина...

Гончие смотрят на женщину, как смотрели на кофе с лезущей пеной.

— Чорт возьми, это дорогая кокотка, — говорит Прусс.

— Они еще могут думать о кокотках! — Мировиц усмехается косо: — Бегаешь целый день за этими фунтами, и если не потеряешь на них, то тоже слава Богу. А если еще Красный флот вышел в море, то может подняться такая скачка...

Мориц Фишман чуточку улыбается, женщина чуточку улыбается.

— Можно заработать в одну ночь столько, что потом два года ничего не делать и только жить на валюту.

Гончие собирают складки; карминная губка чуть морщится, лаковый каблучок постукивает. Конечно, кокотка, но на что больше может приезжая кокотка рассчитывать, чем в первый день познакомиться

с Фишманом. Это — реклама. Ег-ото в кафе знают, слава Богу!.. Pikkolo-скопчик несет записку. Лаковый каблучок постукивает, возле лакового каблучка постукивает, минуту спустя, острый носок ботинка.

— Вы не рижанка, я знаю всех рижанок. — Черные глаза чуть косят. — Я Фишман, владелец ювелирного магазина на Александровской. Вы знаете ювелирный магазин Фишмана на Александровской?

— Я никого не знаю, — говорит женщина, — я же в Риге всего два дня...

— Хорошо. Так знайте же, что вы роскошная женщина, и что раз вы сидите с Фишманом...

Над Майкапаром опять шел дождь. Мориц Фишман поднимал воротник пальто.

— Можно взять извозчика, но здесь совсем близко. К тому же дождь небольшой.

Мориц Фишман шел с женщиной под руку. Улицы были черны, шла балтийская осень. Три парусных судна с камбалой повернули на северо-восток. Осень шла из России, перекатывалась дождями, вдоль Балтийского побережья дул ветер. Дюны посерели; в соснах вдоль побережья ветер рвал шелк.

— Вы самая роскошная кокотка в Риге, — сказал Мориц Фишман. — В Риге раньше была тоже очень красивая кокотка Берта, но она уехала в Варшаву. Я с ней тоже имел дело, три раза. Потом я уступил ее сыну пивовара Вискне.

Женщина тепло прижималась к его руке. Вдоль Альбертовской катился ветер.

— Вот подъезд, — сказал Мориц Фишман. — Но, помните, что вы идете к солидному человеку. И потом... ты здорова?

— О, совершенно, — сказала женщина.

— Я тебе верю, но все же тебе придется зайти к врачу, такой уж у меня порядок; он живет на этой же лестнице и принимает специально для этих случаев в любое время. Так поступают все солидные люди. Вот сто рублей ему за визит. Он даст тебе удостоверение, и тогда я буду совершенно спокоен. Ты же понимаешь, что я не могу рисковать, я не мальчишка с улицы. И, наконец, я плачу тебе деньги, и я могу иметь за свои деньги гарантию.

Мориц Фишман постукивает на площадке тростью. Через двадцать минут хлопает дверь. Раздув папироску, он читает бумажку.

— Отлично. Теперь иди за мной. Сюда вот, в эту дверь. Вот вешалка, раздевайся пока.

Мориц Фишман проходит в соседнюю комнату.

— Мамахен, — говорит он, — не пройдёте ли вы в кинематограф? Сегодня в „Унионе“ новая программа.

Балтийская ночь ползет над Ригой, сползает в море, возникает над ним туманом. В двенадцать Мориц Фишман спускается проводить до парадной.

— Я не провожаю тебя, потому что разгорячен и легко могу простудиться. Если я сам не буду еще иметь с тобой дела, то я направлю к тебе солидных людей. Да, еще вот, что: не таскаться в магазин. Если хочешь видеть — в кафе, в 7 часов. И не кланяться первой, я могу быть с приличной дамой. Спокойной ночи, ты на самом деле роскошная кокетка.

Мориц Фишман, вернувшись, опускает в стакан с теплой водой кристаллик, от кристаллика поднимаются красные ломаные ниточки, вода розовеет. .

ЭТНОГРАФИЯ.

III. Сквозняком вдвало в ту дверь конторы Кука, где должны были быть компаса, карты, бритогубые капитаны и где сидела одна только барышня с повязанной щекою и говорила уныло: — Распишитесь. И обоих их, Невтонова и Прокопова, также внесло сквозняком к повязанной барышне, и далее понесло сквозняком же, через город, из одного средостения лоского дуба в другое, где всюду стояли дубовые столы, сдержанно трещали машинки, и крахмальные молодые люди — латвийские, литовские, германские — носились с бумагами по лестницам особняков, в которых коричневый день лоснился на паркете.

И тем же сквозняком, через день, мимо седых прудов Екатерининского парка и мещанского разлива Мещанских, принесло их на тот старчески-слеповатый вокзал, где пахло жарболкой и свет был больничный, как в тифу. Три англичанки в желтых кожных лопотали у выхода на перрон, блестя золотыми зубами, и желтизной прочных зубов раздирались американцы в серых летних шляпах, в русских шубах: ехали с русского голода, увозя кофры и чемоданы, и ящики со стеклом. Поп из болот, из рыбинских русских болот, с рыжей бородашкой, в галошах, ходил по залу, смотрел в буфете на мертвые котлеты под колпаками,

налил в кружку на цепи остуженной воды, пил долго, медленно, от скуки. Мурзилка: под носом склизко, шапка отцова, подходил, шмыгал носом, говорил безучастно: — Поддай копеечку, — поправлял локтем шапку, плелся дальше.

Поезд за окном подавали медленно; в дверях шубами американцев затерло, — сразу пустынный осенний перрон, низкий дым, гул дальних просторов. И Прокопова, которого пять лет подряд носило с фронта на фронт в теплушках, шинель на шинели, и Невтонова, просидевшего в шубе три года в полярных лабораториях, — вместе их втиснуло, понесло легким нарядным коридором, мимо красных дверей купе с бронзой дощечек, мимо белых чехлов на диванах — в купе, где горела под потолком водянистая опухоль колпака в манжетке синего чепчика, спустить если который — и сразу ночной дорожный сумрак, деловитый тропот колес и сладкая нежность к себе, несомому и баюкаемому на прочных пружинах скитаний.

Их принесло в тот вагон, где у двух деревянно-квадратных латышей в роговых очках, были грамоты, как договор Лиги Наций, в аршин, с древними печатями, и венгерец, похожий на испанского короля в отставке, с сквозными усами, внесенными по бокам костистого носа, выходил из уборной, словно в своем запасном дворце, — все устраивались на ночлег, влезали на верхние полки, курили в коридоре, а за окнами была уже волоколамская тьма, пока еще русский ветер осени, проселков, гатей, болот, полей. Поезд шел дальше, в ночь и сырь, чересполосицей передела, к Европе, разлившейся, как пролитые чернила, причудливыми берегами новых границ, залиывавшей всклокоченную войнами шерсть, сменившей

стальную щетину танков и 24-х миллиметровых — стальную щетиною конференций, комиссий, лиг, репараций, конгрессов... И только один Авраам Линкольн, со своей круглой бородкой, смотрел добродушно с мятой зеленой долларной бумажки, как щетинились шерстью конгрессов и как скалили зубы волки побежденные и волки победившие, шурша ворохами соглашений и договоров,—Авраам Линкольн, которого прятали, под'езжая к границам, в чулки и зашивали в подкладки, — Авраам Линкольн, старый друг негров (Авраам Линкольн читал „Хижину дяди Тома“ г-жи Бичер-Стоу и слезы капали из добрых его глаз), — Авраам Линкольн лежал зашитый во всех пиджаках путешественников, потому что до сих пор защищал интересы всех, и с ним было покойно и верно, как с добрым, старым, американским дядей...

Поля, поля в дыму проносились за окнами. Осень сидела на крыше вагона, трубила, неслась на Европу. Ночью вышел венгерец в шелковом халатике, в туфлях, узкотазый, — долго сидел в уборной, как испанский король на покое.

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ.

IV. Через Себеж, перед носом поезда, проскочила телеграмма: — „Покупайте всю партию“, адресованная в Ригу, Заксу. Телеграмму дал из Москвы розовый старичек в золотых очках. Телеграмма нырнула в провод и понеслась на Зилупе, в Зилупе перескочила в другой аппарат Юза и дальше скользнула к Риге. Поезд стоял на границе, по мелко-курчавому взгорью избегали землянки гнездами стрижей, по перрону в шубах бежали американцы, на перроне чиновники русской таможни вскрывали американские сундуки: из американского сундука вдруг цветистым персидским узором расцвел ковер. За станцией в стороне парень в шинели наигрывал на гармонике — тили-тили-тилили, матрос стоял подле, улыбался мутно, держал парня за петлю: — Хорошенькая? Митрей, хорошенькая, а? Если хорошенькая, оженюсь, ей Богу оженюсь. — Парень лицом белым, как пузырь, в веснушках, надувался, отмахивался надоедно; матрос не унимался: — Митрей, хорошенькая? Ты скажи! — За синей пилкой лесов было море.

Телеграмма, которую дал из Москвы розовый старичек в золотых очках, проскочила в Ригу, выскочила змейкой из медного аппарата, запахла клейстером,

медленно поплыла в кожаной сумочке телеграфиста на Дамбу, в дом Адольфа Эглита, к Заксу. Было девять часов утра. По Риге, меж серых домов средневековья, катились телеги с мусором, возле ворот на цепочках в железных обручах, лежали коротко напиленные полешки, шли старушонки в черных боа из перьев и здоровые краснорукие латышки шли с корзинками на базар. Город был в утренней свежести после ночного дождя, сепией крыш и готических пик в линиях облачного неба, по сырым аллеям парка, под каштанами, шли деловито люди.

Закс, добривая щеку безопасной бритвой, читал утреннюю сырую газету:

„Сенегальский негр Баттлинг Зикки победил француза Карпантье в борьбе на чемпиона мира полутяжелых... девизы: доллары 3.800... Испания 1 пезет 800... Голландия 1 гульден... Рио-де-Жанейро...

Закс брился одной рукой, другой отмечал в книжке: 1 пезет 800... фунт — предложение 24... — Нос у него был толстый, шерсть на груди вилась. Заксу подали телеграмму без четверти девять, когда он добривал подбородок. Закс вдруг топнул ногой, закричал, схватился за голову. Через минуту, с намыленным еще подбородком, он хрипел в телефон: — Алло... продавайте всю партию... Вы слушаете, черт возьми... продавайте фунты, продавайте швейцарские франки... я сам еду на биржу. До двенадцати продавайте... Дальше я дам инструкции.

Гончие, с живыми носами, понеслись на биржу. К одиннадцати на бирже ощутилась паника. Фунты падали, их предлагали повсюду, за фунтами полетели доллары, за долларами швейцарские франки... Доллары предлагали все, — в одиннадцать биржевой ма-

клер Захарияш звонил Соединенному банку. Захарияш сообщил о катастрофическом падении валюты. Официальный бюллетень, вышедший в 12 часов, сообщал, что в связи с выборами, свидетельствовавшими о разумно-умеренном мышлении населения, на бирже падение иностранной валюты и укрепление латвийского рубля. В четверть первого, в виду продолжающегося падения валюты, Соединенный банк решил продать две трети наличности, чтобы не потерять на разнице. В два с половиной на бирже вдруг означился перелом: валюта исчезла. Только что ее было сколько угодно и едва можно было найти покупателя, и вдруг валюты не стало. Из Берлина по радио сообщили, что в связи с соглашением, к которому пришли на очередной конференции, сильное повышение курса. В Берлин навстречу неслась телеграмма: на бирже отсутствие спроса, резкое падение ценностей. В Берлине в 6-ти часовом выпуске, обсуждались причины резкого падения на рижской бирже. Указывалось, как на одну из основных причин — на отказ русского правительства от мысли об устройстве в Петербурге незамерзающего порта, что дает Латвии страшные таможенные преимущества... Радио передало в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, в Рим, в Прагу, что русское правительство отказалось от мысли об устройстве незамерзающего порта. Надежда на возможность непосредственных торговых сношений с Россией уменьшилась, курсы качнулись, поползли вниз. Обратное радио из Парижа передавало: — Настроение биржи к утру крепкое. К вечеру, в связи со слухами о России, значительно ослабело.

На рижской бирже, между тем, перед закрытием обозначился новый перелом: цены стали расти. Все

искали валюту, валюты никто не предлагал. К пяти появились одиночные предложения, цена превышала утреннюю на треть: Соединенный банк потерял половину своего состояния. Закс, с салфеткой, засунутой за воротник, с ножкой курицы в левой руке, кричал в телефон:

— Делайте предложения... одиночные предложения. Поднимайте цену умеренно... 12... 12¹/₂... работайте на долларах!

В семь с вокзального телеграфа Закс отправлял телеграмму в Москву:

„Партия продана. Куплена новая, цены фабричные. Телеграфируйте необходимость повышения цен на товары“.

Из России деловым будничным порядком шла официальная телеграмма:

„Работы в петроградском порту продолжаются. Текущую зиму из капитального ремонта будут выпущены пять ледоколов“...

На пограничной станции, куда медленно продвинули поезд мимо ничьей земли, нейтральной зоны, деревеньки в осеннем пуху, где прошли близко под окнами горчишные шлемы с красной звездой и следом каскетки с галунами, как у комми гостиниц, — на станции, где ели Невтонов с Прокоповым рагу из баранины, сидели, похаживали пограничники в каскетках, присаживались на скамейки, нюхали запах баранины небритые личности в штатском, с поднятыми воротниками. Личности входили, выходили. Из угла увидел Невтонов, как перекинулись взорами, точно мечами,

личность с пограничником, — и вдруг распахнулось пальто: на груди личности висел потайной электрический фонарик. И личности вдруг расцвелись: были шпионы. Проводники озабоченно проносились, шушукались в углах, тащили банки с какао,—над станцией лежал прочный дух контрабанды. Личности с проводниками здоровались за руку, все были — как дети одной семьи.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН.

V. Телеграмма о незамерзающем порте была напечатана во вторник утром в девятичасовом выпуске берлинской газеты. Люди, спешившие на поезда подземной дороги, взбиравшиеся на крыши омнибусов, стоявшие у трамвайных остановок,—все читали утренний выпуск. Герр гекеймрат доктор Санвич в утреннем деловом заседании экономического комитета изложил те выгоды, которые получает германская промышленность при освобождении товаров, направляемых в Россию, от транзитных пошлин. Можно экспортировать в Россию краски и химические продукты и получать взамен сырье, зерно, даже пушнину.

Биржа началась при крепком настроении, еще более окрепнувшем к полудню. Престиж Линкольна падал. С 7.200 он упал до 6.400 к двум часам дня, к трем до 6.100, к четырем до 5.600. Вечерние газеты были полны сообщений о падении курса Линкольна, вечерние газеты веерами рвали из рук продавцов, вечерние газеты с сообщениями о поднятии марки читали все: вагоновожатые, бритые молодые люди в русских кафе, кондуктора, конторские служащие. Вечером в обозрении Комической Оперы распевались новые куплеты о беде, случившейся с госпо-

дином долларом. Господин доллар утратил свою былую власть и летел в бездну.

В половине второго ночи старший отправитель поездов подземной дороги на вокзале улицы Бюллова, Дрешер, шел домой. Под чугунным мостом вокзала продавали сосиски. Фиолетовое пламя трепалось, кругом стояли ночные девицы и молодые люди в котелках. Улицы были уже пустынноваты. Дрешер шагал бодро, прочно ставил ноги в разбитых начищенных башмаках. В кармане его был номер газеты, где сообщалось о падении доллара. Дрешер был все три года войны унтер-офицером ландвера, он научился есть хлеб из гороха и хлебать голый суп. Раз его зарыло в землю тяжелым снарядом, — через четверть часа его откопали: он был жив, во рту его была земля, на левое ухо он оглох. Его починили и отправили воевать дальше. Теперь, два года спустя после войны, он также продолжал есть три раза в день по ломтю серого хлеба с тоненьким слоем маргарина и хлебать голый суп. Жалованья хватало на хлеб, на картошку, на суп, ботинки Дрешер уже давно зашил крепкими нитками и мазал их по праздникам чернилами. Кроме жены, старой Матильды, которая раньше, когда имел он извозный двор, была крепка и хрустка, как кормовая свекла, а теперь тоже ссохлась и стала сварлива от дороговизны и очередей, — кроме жены, была у него дочь Бетти, которой нужны были чулки и личные платья, — а все стало так неслыханно дорого! И Бетти тоже приходилось служить в марочном магазине русского князя (а если нечем становится жить, что может быть лучше, чем открыть спокойную табачную лавочку или лавочку марок...). Бетти целые дни раскладывала марки по государствам, сортировала

в пакетики, и были марки, на которых нарисованы пальмы и даже слоны, пятнисто-зеленые и оранжевые, как тропические цветы или солнце. А в магазин марок князя Изъединова солнце не проникало, сам он был лыс от трех всероссийских правительств, которых был членом. И когда не стало правительств и не стало России, тогда осталось только одно — открыть лавочку марок, такую спокойную лавочку, где весь день можно листать каталоги и откуда никто не гонит, никто не восстает и ничем не угрожает... Князь фабрил усы. Вечерами, в цилиндре, казался совсем свежим человеком.

За Бетти к семи приходил Альфред Шенфельд. Альфред Шенфельд вот уж два года как был ее женихом, служил в шляпном отделении лучшего торгового дома Кремниц и Сын, но не накопил еще достаточно денег, чтобы они могли пожениться. Они ходили весь вечер по улицам, глядели друг другу в глаза и вздыхали, оттого что не имели достаточно средств, чтобы теперь же жениться. Альфред Шенфельд вот уже два года как отказал себе в ежедневной сигаре и в кружке пива; он не покупал газет и ходил домой на Александерплац пешком, чтобы не тратить на трамвай или омнибус, он освежал водой свой ветхий костюмчик и подшивал рукава тесемками; он носил всегда один и тот же серенький галстук и гуттаперчевый воротничек, и только по праздникам, когда шел он с Бетти в кафе, надевал розовый галстук. У него на книжке в сберегательной кассе было уже сто тридцать тысяч марок, и теперь недолго оставалось до двухсот, когда он посмеет пойти к отцу Бетти Дрешер, как полноправный жених. И в кафе, в последнюю праздничную встречу, они все чаще смотрели друг другу в глаза и взды-

хали, и раз даже поцеловались, а кругом пили пиво и кофе, читали газеты и спорили, — но им не было дела ни до кого, они были погружены в глаза друг друга.

И в этот вечер, когда шагал с газетой в кармане домой Дрешер, отпустив восемьдесят шесть поездов на Вестен, — в этот вечер шепнул Альфред Шенфельд Бетти, прощаясь у темных дверей ее дома:

— Скоро ты будешь моей маленькой женкой.

И Бетти поникла в его руки, губы их сближались и сблизились — и целая вечность прошла над ними.

Дрешер вошел к жене с газетой в руках.

— Хорошие новости, Матильда, — сказал он, — слава Богу, наконец, хорошие новости. Наконец, Германия сможет опять стать великой и богатой.

— Неужели Америка вмешалась в дела?

Матильда поднялась на локте.

— Америке до нас так же мало дела, как и полгода назад. Дело здесь не в Америке. Знаешь, почему сегодня доллар? Доллар сегодня 5.800, понимаешь ли это! Это с 7.200, не плохо для начала. Россия открывает порты для товарообмена с Германией. А если доллар падает, то и все упадет, и тогда человеку, который трудится, станет возможно жить. И, может быть, если Бетти выйдет за Альфреда Шенфельда, — может быть, мы вместе с ним снова откроем извозный двор, и ты уже не будешь стоять в очередях за картошкой. А помнишь, Матильда, какая ты была румяная и крепкая, когда мы поженились? Слава Богу, я помню это, как сейчас. У тебя была каждая грудь, как крепкое яблоко.

И вдруг ощутил Дрешер, как к концам его пальцев набегает давняя забытая истома.

— На самом деле, Матильда, — сказал он, садясь на край постели и снимая башмак, — это будет совсем не плохо, если мы откроем извозный двор. Послушай, старуха,пусти меня сегодня к себе под перину, слава Богу, у Дрешера еще сохранились кое-какие силенки...

И Матильда ответила:

— Ты совсем сошел с ума, старый дурак... Ну, лезь уж, долго мне тебя ждать.

И ГЕОГРАФИЯ.

VI. И в эту ночь, когда заснул Дрешер на двадцать минут позднее обыкновенного и видел во сне Германию, снова великую и непобедимую, — в эту ночь в латвийском вагоне, вытянув ноги друг против друга, дремали Невтонов и Прокопов, — а поезд нес, нес в глубь литовских полей, на которых тяжелым походом ступали литовские рыцари, на которых, меж литовских просторов и осени, и алеющих буков, округ древней столицы высились серо-бетонные форты русской крепости. И ночью же пришли на смену латвийским пограничникам литовские пограничники, все рослые, франты, а в Янишках на станции, подперев головы, сидели в летних гимнастерках литовские солдаты, чадно горели тусклые лампочки, и опять приходили, ходили, влезали в поезд личности в штатском, с поднятыми воротниками, с опухолью электрического фонарика под пальто на груди.

Поезд долго стоял, паровоз сменяли, в составе поезда лениво растянулись длинные фанерно-дубовые вагоны с дощечками Riga — Berlin — Paris, проводники в каскетках были щеголи, с подстриженными черными французскими усами, и отсюда уже пахло Европой, запахом цивилизации, комфорта — из-за шелковых

занавесок, за которыми проходил в кремовой пижаме венгерец, недавно лишь походивший на испанского короля в отставке и ломавший чужие слова, и теперь спокойно заговоривший по-французски; здесь, в длинном тепло-ковровом коридоре вагона, где свежесть белья, зыбкая мягкость пружин, запах туалетной воды и английского табаку, — здесь был он дома.

В латвийский вагон, в купе Невтонова и Прокопова, где дуло от окон и где можно было спать лишь валетом, в тех же Янишках, внесли вместе с запахом сырой ночи два плоских коричневых чемодана из свиной кожи, вошел элегантный господин с подрубленным кончиком носа. Он приподнял фетровую зеленую шляпу, снял макинтош, вытянул двумя пальцами из кармашка краешек платка, сел на диван, подтянул на коленях остро заглаженные брюки новенького дымчато-серого костюма, закурил, оглядел багаж спутников и спросил учтиво:

— Изволите ехать из Советской России? Ну, как там промышленность, много ли немцам сдано концессий?

— Откуда же я могу знать про это? — Невтонов ответил угрюмо, вытягивая застывшую ногу.

И вдруг глазки человека и весь подрубленный нос его дрогнули, дрогнули на один миг и застыли.

— Я, видите ли, интересуюсь экономически, сближение с Россией для Литвы является жизненно-необходимым.

И вдруг что-то опять запрыгало на подрубленном носу, глазки с Невтонова перекинулись на его чемодан с наклейкой, вчитались в наклейку, — перед Невтоновым предстал: под серым элегантным костюмом, с тяжелым сапфировым перстнем, европейский шпион. Шпион курил сигаретку, хрустел янтарным мундштуком, прикидывался коммерсантом, ехал по делу в Бер-

лин, главным образом для покупки партии сукон. Прокопов, вытянув ноги, спал, от окон дуло, поезд неся; за окнами была литовская тьма. Подле, развалившись, сидел шпион. Ночью на остановке он вышел. Невтонов приподнял край занавески: под фонарем говорил он с проводником в каскетке. У проводника были черные подстриженные французские усы. Потом он вернулся, принес ночной свежести. Снаружи крикнули: „Ekkarr“ — поезд ринулся дальше. Невтонов завернул ноги в плед, уткнулся в угол головы, стал засыпать. Ночью он вдруг вскочил, шпион стоял над ним и развертывал в сетке пачку его газет.

— Извините, — сказал он любезно, — у меня бессонница, а я увидел у вас русские газеты...

— Вам надо слезть, — сказал вдруг Невтонов свирепо, — газеты не для вас... совершенно не для вас.

И человека вдруг сдунуло; он сидел на диване, закуривал серебряной зажигалкой новую сигаретку, он внимательно следил за своим дымом. Под утро, когда вагон спал, он вышел в коридор, достал из бокового кармана блок-нот и перо и написал телеграмму:

— „Каунас. Янайтису. Два вагона углем следуют поездом 57 № 1712“.

Такую же телеграмму из Зилупе, отправляя на Ригу вагон, в котором ехал Невтонов с Прокоповым, дала личность с фонариком на груди, — только поезд был 31 и № 882. И был в Риге носильщик румяноусатый, который первый ворвался в вагон, схватил чемоданы Невтонова и Прокопова, все устроил и заботился о них, как дядька. И опять из Риги полетела перед поездом телеграмма на Янишки о двух вагонах с углем, — красненькие паспорта прилипали к рукам пограничников, и в Каунас, на следующий день, вза-

мен элегантного господина с подрубленным носом, которому вдруг нашлось место в фанерно-дубовом вагоне Riga — Berlin — Paris, — взамен его влетел в купе мелко - курчавый веселый юноша, мигом устроился, тепло обрадовался русским и попросил почитать газеты.

От Каунас поезд отошел в два часа дня, шел еще несколько часов по окраине древней литовской земли, к границе, где начиналась Германия, перепоюсанная польским коридором, сенегальскими войсками оккупации, — Германия, которая сто лет была непобедимой и двуглаво крылила над Европой, и которая вдруг всеми перьями своего изгрызанного черно-желтого орла легла в мировом переделе, завершая европейское пожарище судорожной волею к жизни, бегом в мешке вдоль мирового пустынного стадиона, где сидели на трибунах рядками и наблюдали в бинокли члены лиг, конференций, конгрессов, армий спасения, экономических совещаний, кабинетов министров и контрольных комиссий.

ТОРГОВЫЙ ДОМ „ДРУГ ХОЗЯЙСТВА“.

VII. Через неделю после прощания с Бетти у дверей ее дома, Альфред Шенфельд в обеденный перерыв, вместо того, чтоб отправиться обедать, как все,—спустился в кафельный колодец подземной дороги Он, наконец, ехал на улицу Рыцарей, в самый край Остена, в магазин „Друг хозяйства“, где в прошлом году он заходил приценяться к двум превосходным никелевым кроватям с литыми шишками и пружинными звонкими матрацами, стоившими тридцать пять тысяч марок,—ибо был уже близок день его судьбы. Он купил уже по случаю плюшевые занавески на окна, заново обил тиком кушетку, на окнах стояли цветы, те оранжево-теплые настурции, которые каждую весну так сладко пахнут теплой цветочной пылью. И на полу стояла уже пара теплых маленьких туфелек, в которых, как в гнездышке, приютятся две маленьких теплых ножки. Ему не доставало лишь двух кроватей, таких же точно, какие видел он год назад в торговом доме „Друг хозяйства“, с литыми шишками и пружинными звонкими матрацами. Утром, по дороге на службу, он зашел в банк, взял со своей сберегательной книжки восемьдесят тысяч марок, прикидывая, что за год цены, наверное, удвоились — ведь

все так безумно дорожает! Он рассчитал, что не меньше двадцати пяти тысяч будет стоить ему приличная свадьба, и пятьдесят тысяч останутся у него на первоначальное обзаведение. Жалованья его и Бетти хватит им на скромную жизнь, а если еще пройдет повышение, которое обещали, то...

Альфред Шенфельд тоже, как и все, был пять лет на Марне, у Вердена, носил каску в чехле и крепкие плоские сапоги, он тоже запомнил на всю жизнь смертный противный вой пушек и полет тяжелых снарядов. Его ранило дважды в плечо и в берцовую кость, отчего он прихрамывал чуть на левую ногу, и плечо в плохую погоду начинало поднывать... Теперь он так же, как и все, хотел мира, тишины и любви, наконец, приблизился к ним настолько, что ехал уже, с сложенными аккуратно бумажками, покупать настоящее чудо семьи, настоящие...

Альфред Шенфельд спустился в колодезь, взял в окошечке билет, дал его прощелкнуть в проходе и вышел на просторный асфальтовый перрон, под сводами которого круто уходили вглубь блестящие рельсы; ядовитые зеленые огни горели во тьме тоннеля. Он неспеша прошелся мимо киоска с пестрыми пестрых журналов, мимо длинной плоской рекламы несравненных Massary, лучших сигаретт, которые курит весь мир. В этом бетонно-асфальтовом брюхе города было тепло и покойно, дальний гул временами тяжело перекачивался вверх, похожий на вой тяжелых. Поезд внезапно вынырнул из тьмы, выбросил одну толпу, заглотнул другую, — застрочил мимо стен, стен с смоляными жгутами кабелей, внезапно прыгнул из тьмы, сразу облился дневным светом, понесся по чугунному помосту, вдоль пятых этажей;

улицы оставались внизу, кирка пронеслась с пикой шпиля, — сразбегу поезд влетел в разрез серого мрачного дома, закопченного по крышу, с окошечками с занавесками на уровне рельс, — и внизу вдруг раскрылся простор: рельсы, рельсы, сотни путей сплетались, водонапорные башни, угольная чернота труда, стройки, — город раскидывался своими серыми крышами, трубами фабрик, облаками; дальше, за стеклянной круглой крышей вокзала поезд погрузился снова в бесконечное недра, сверлил его, на лету застывая у желтых площадок перрона, дальше летел в тьму, — и в кафельном же колодце, вместе с другими, вышел Альфред Шенфельд, поднимался по лестнице прямо в серое небо, лежавшее над серо-бетонным, стеклянным Тицем, над сумрачной казармой полиции — над всем этим деловым, трудовым Александерплатц, откуда по узким улочкам старого города торопливо струилась толпа, карабкалась на крыши omnibuses, застревала у стеклянных витрин, где в бесконечных галлерейх скучали продавщицы, лились ткани и был некий банный легкий гул.

И с этой же деловой толпой поплыл малой щепой и Альфред Шенфельд вдоль улицы, по которой тяжело ступали мохноногие лошади, везли ящики, фуры, таблетки прессованного угля — ибо начиналась осень. Осень, вместе с насморками, гриппом и инфлюэнцей, экспортировала Россия на крыше вагона, в котором ехали Прокопов и Невтонов. Она тоже пересела в Риге на неудобную крышу латвийского вагона, занесла раз поутру всю Латвию мелкой перловой крупой, сейчас же расстаявшей, затрясла старые буки Литвы, кружа золотисто-коричневый лист, — и теперь тоже готовилась перейти границу, ту гнилую ночную

канавку, за которой начиналась великая германская земля.

Альфред Шенфельд, наконец, почти в конце улицы, увидел витрину торгового дома „Друг хозяйства“. Он нарочно замедлил шаг, словно гуляющий иностранец, он остановился сначала еще у витрины шляпного магазина посмотреть шляпы и, наконец уже, подошел к серебряно-стеклянной витрине „Друг хозяйства“. О, счастье скольких семейств могла бы составить эта витрина! Кровати, кровати с сетками, с пружинными матрацами, с литыми шишками (те, те!), и детские люльки, ах, эти детские люльки, в которых покачиваешь крохотное существо, уже потягивающееся, зевающее, протирающее глаза. Альфред Шенфельд нажал ручку двери, медленно входил. Вот он обходит уже ряды кроватей, и приказчик следует за ним, словно он, Альфред Шенфельд, не тоже служащий в шляпном отделении торгового дома Кремниц и сын, а самый богатый иностранец, у которого есть доллары, и фунты, и голландские гульденy, и даже валюта Рио-де-Жанейро... Он рассеянно прошел сначала мимо кроватей с литыми шишками, потом вернулся к ним и сказал небрежно:

— Вот эти, пожалуй, могли бы пригодиться.

Он даже присел на мягко зазвеневшие пружины матраца, чуть покачался на них и сказал, наконец, снова:

— Да, эти кровати могли бы пригодиться. Какая цена им?

Он знал, что приказчик сейчас откроет рот и скажет — не тридцать пять, и не сорок, а целых семьдесят, и, может быть, все восемьдесят, — и он посмотрел на круглый рот, который вдруг смялся, размялся — приказчик сказал:

— Сто пятьдесят.

— Сто пятьдесят... сто пятьдесят — чего сто пятьдесят? — спросил Альфред Шенфельд, и голос его, и сердце стали вдруг такими резиновыми, что точно сами отталкивались от человека.

— Сто пятьдесят тысяч марок, — сказал приказчик со вздохом, — сто пятьдесят тысяч марок — кажется, огромная сумма... А что, смею я вас спросить, сто пятьдесят тысяч марок, когда доллар 7.300. Вы посмотрите, что это за матрацы, вы посидите на них.

И вдруг руки Альфреда Шенфельда тоже стали резиновыми, он жевал резиновый воздух резиновыми губами, и приказчик был тоже резиновый, и резиновые люди маячили мимо витрин.

— Сто пятьдесят тысяч марок, — сказал Альфред Шенфельд, — но ведь надо быть шибером, чтобы покупать кровати за сто пятьдесят тысяч.

И он не слышал больше резиновых слов и не видел других кроватей, — он знал, что что-то кончилось и никогда не восстановится, и с тем, что кончено, — его счастье, и мечта, и два года труда и лишений. Сто тридцать тысяч марок, которые скопил он таким трудом, умеренностью, воздержанием, — были ничем, пеплом, — сто тридцать тысяч марок, на которые он рассчитывал отпраздновать свадьбу, обзавестись необходимым, обставить уютное семейное гнездышко, — ста тридцати тысяч марок не хватало на пару обыкновенных кроватей, без которых он и не смел мечтать о браке...

Альфреда Шенфельда смывало постепенно, его смыло до площади, донесло до развалины подземной дороги, покрутило у входа и дальше понесло мимо. В первый раз за три года забыл он о службе, он

глядел на грифельное небо, стоял у набережных каналов, вдоль которых по темной воде не спеша плыли тяжелые длинные баржи с кирпичем и цементом; яйцами отражались в воде выгнутые дуги мостов; серые дома набережных с зелеными жалюзи, коттеджи с белыми занавесками, леса, над которыми взнесенный над городом сквозной кран поднимал тяжелую вагонетку с песком. Альфреда Шенфельда несло и несло дальше, мимо мостов с чугунными статуями изобретателей с циркулем в руке; пустынноватых площадей с сонной ликерштубе, где за прилавком сучает сиделец, и с серой ротондой мужской и женской уборной подле белого памятника знаменитому фюрсту в ботфортах, с рукою на рукоятке шпаги; мимо серых домов министерства, похожих на почту, и вдруг, разом, — тот широкий, асфальтово-серый размыв улицы, куда мелкой щепой вынесло боковым ручейком Альфреда Шенфельда и закружило в потоке людей, экипажей, моторов, желтых почтовых карет, велосипедов, рожков, витрин, паноптикумов, отелей...

Кого несет, куда несет этот бесшумный поток, мимо зданий посольств, зеркальностеклых контор American-Line, за которыми модели гигантских пароходов, американских стадеcятиверстных декапотов и голубые моря, взрезаемые черным носом черно-стального чудовища, дымящего косою короткой трубой. Здесь, — со всех карт, из-за всех морей, экспрессами, океанийскими громадами, двадцатиместными аэропланами последней конструкции — от смолисто-аспидных негров в модных пальто, стянутых в талию над широкими бедрами, негров, дымящих аршинными черными арген-

тинскими сигарами и готовых вот-вот, сложив на груди руки, отстучать ту-степп для любителей цивилизации, — до слабозубых китайцев с их неживыми черными бровями, словно набросанными лаковой кисточкой, до деловитых людей с тугими портфелями, выходящих из серого здания посольства, над которым взнесен на флагштоке рдеющий флаг. С экспрессов, из вольного города Гамбурга, где запах океанийских просторов, колоний, туземцев, островов, — в бесшумных деловых ауто с чемоданами на крышах — к тем европейским, безукоризненно-дорогим гостиницам Адлон, Эспланада, где легкий треск звонков, пар горячей воды над фаянсом, близость того громадного серого здания биржи, в котором гул лопающихся состояний, взлетающей славы, королевского могущества и разорения — эта машинная человечества, конденсирующая мировую энергию, строящая войны и мир, порабощающая ту несметную силу, которая не собрана в конденсаторы, которая строит здания, копошится в недрах океанийских гигантов, давая им жаркую силу, одевает лесами дома, утверждает свое вечное бессмертие тем гигантским сквозным подъемным краном, который над потоками поднимает на стальном тросе тысячепудовую вагонетку с грузом, медленно вращающуюся от своей тяжести.

И Альфреда Шенфельда, забывшего в первый раз за три года о времени и о службе, — несло и несло в этой толпе, дымящей сигарами, трубками, мешающей английские слова с певучей россыпью юга и мягкой плавью востока, — в этой толпе, уверенной в силе своего достатка, в толпе победителей, недавних серых лент, вросших в траншеи, заваленных блиндажными мешками с землею и бревнами; в толпе легких про-

жигателей жизни, дельцов, спекулянтов всего мира, слетевшихся на легкое пиршество, на доклев истерзанной черно-желтой птицы, еще разевающей геральдическую пасть, защищающей город, несомый как бы легким похмельем войны, биржевой игрой, чудовищным обогащением силы, организованной и собранной в мировые тысячевольтовые конденсаторы, и ничтогой той неорганизованной силы, которая тут же, в проулках, загроможденных камнями и щебнем, прорывала пятый год землю, бетонируя, укрепляя новый тоннель, прокладывая в нем рельсы, проводя электричество, закрепляя славу труда на новые десятилетия.

За жирными стеклами кафе, на красных диванах. в голубоватом дыму сигар, сигаретт, трубок сидели люди с прочными затылками, красными от хорошего бега крови, — уже медленно снова восходил по знакомым ступенькам старчески-цепкой ногой старый Линкольн, и в двенадцатичасовом утреннем выпуске была телеграмма, что новая конференция, собранная для водворения мира в Европе, отвергла условия, нарушающие жизненные интересы народов-победителей. И как медленно, за минутой минуту, девизами, спросом, посредниками — поднимался старый Линкольн, — так же медленно шел Альфред Шенфельд все дальше, к тому императорскому простору, который возникал в перспективах республики стеклянно-золоченными крышами своих опустевших дворцов, мраморным полукругом памятников и бронзово-зелеными конями, внесенными на золоченом фронтоне.

Над дворцами был пустынный простор серых осенних небес, вокруг дворцов был простор запустения, они стояли как бы тяжелыми саркофагами, недавно еще проходил двухсветною залой ковровой дорожкой

император в лаковых ботфортах, меридианом стояли авто к приему, серые шинели, серые каски, карты, Верден...—шесть солдат прошли теперь мимо в касках с ружьями в чехлах, как тень былой славы, и все смотрели им вслед; тенью же славы насупленно стояли дворцы в этой шумящей, несущейся жизни. Так временами голосом дальних времен, старой германской романтики, штурм-унд-дрангом, философией Гегеля, рейнской песнею Гейне запоет в колодце двора старая больная шарманка. Тогда встанут на миг старый Веймар и орлиный нос Гете, старый Дрезден, старый Франкфурт — воительница бывшая Германия на рейнских золотых берегах, на лесистых склонах Шварцвальда, от сурового Остена до нежного запада, где стеклянно-золотист разлив мозельвейна и золотисто-размывны косы Лорелен...

И здесь, у дворцов, Альфред Шенфельд, наконец, остановился; серым пеплом раскидывался город, серым гранитом поднимался тяжелый ковчег галлерей, и выше всех, к самому серому небу, поднималась на крапе вагонетка с цементом, крутясь и вращаясь от тяжести. Было половина четвертого, уже синеватой тенью означался вечер, и желтой бритвой зари распоротое небо стеклянно сияло на крыше дворца. Теперь Альфред Шенфельд уж знал, что все непоправимо, что Бетти теперь недоступней, чем два года назад, что все потеряно в один день, словно он, Альфред Шенфельд, три года не трудился и не отказывал себе во всем... Теперь не к чему было больше экономить, можно было вернуться назад на омнибусе, можно было вообще не идти сегодня на службу и просидеть до

семи в бирхалле, пить темное и слушать, как стонут и клянут скрипки. И что мог сказать сегодня он Бетти, которая знала, что он поехал покупать для их гнездышка кровати с литыми шишками и звонкими матрацами. Надо было опять, как три года назад, залезать в окопы, чтобы никого не видеть и ни о чем не мечтать. А Бетти? О, Бетти!

И он полез за другими в желтый омнибус, он поднялся по витой лесенке наверх, на крышу, сел у переднего края скамьи, поднял воротник пальто, и волнами забилося море людей, экипажей, велосипедов, разбиваясь об оранжевую грудь омнибуса. Они обгоняли молодцов, нажимающих педали своих велосипедов с цветными каретками, закрытые моторы с щитками лакированных крыш, длинные полки с рядками полого кирпича, везомого к стройке,—и все ближе над воротами Парижской победы неслась навстречу золоченая фигура с подъятым в триумфе венком и откинутой золотою ногою; и здесь, за аркой, куда медленно, вслед друг за другом вливались цепью моторы и экипажи, разбиваясь снова ручьями о бык—зеленого полицейского, — здесь оливковым простором, осенним холодом белопенного мрамора, коричнево-золотистым листопадом Трианона—раскидывался Тиргартен. Над ним уже было дыхание осени, летевшей на крыше латвийского вагона к границам Германии. Сыроватые дорожки в листве, прибитой дождем, осенняя оголенность, за которой по-заячьи взблескивал мрамор, — округлость подстриженных куп и легкий шорох ветвей над крышею омнибуса,—Альфреда Шенфельда, вместе с другими, сосущими огрызки сигар, вытянувшими ноги в огромных тяжелых башмаках, тоже начищенных, чтобы скрыть их заношенность

и разбитость, несло под ветвями; он сидел, зяб, прятал руки в рукава. Уже оседал синий вечер, и там, где за толстым серебряно-синим стеклом веерами раскинулись марки, марки оранжевые и палево-желтые, зеленоватые и голубые, марки со слонами и пальмами и с султанами в чалмах, и с президентами в круглых бородаках, и с дородными порфириносными королевами,—там спустился с витой лесенки омнибуса Альфред Шенфельд, долго стоял у витрины, где за толстым стеклом и за веерами марок была Бетти, единственная Бетти, на которой теперь он не смел жениться...

И Альфред Шенфельд вошел напротив в ликерштубе, где сидел за прилавком красношеский сиделец, он выпил одну рюмку маслянисто-оранжевую, и другую—мятно-беловатую, и третью—ярко-красную, в животе его стало тепло,—и вдруг мягко, резиново, как резиновый продавец в магазине „Друг хозяйства“, поплыли стойка и полка с пузатыми глиняными и стеклянными бутылками, все было добрым и ласковым, как мягкие волны, плыло далее мимо, вдоль синих вечерних улиц, и мягко золотела, лилась золотая вывеска над входом,—а внутри был легкий дым, бодрая темная струя из серебряного жбана в тяжелую граненую кружку и медовый солод настоящего мюнхенского, которого целых три года не пил Альфред Шенфельд.

И в этот вечер позднее на целых двенадцать минут пришел он к месту их встречи, у светящегося столба трамвайной остановки с овальными красными кружками рекламы; от него пахло пивом и вином, он был зыбок, как тростинка, он сразу ослабел и размяк, и Бетти мужественно и сурово повела его под руку. Она ничего не сказала ему, ни одного слова. Они дошли до площадки, где округ газонов, невдалеке от

мужской освещенной ротонды, стояли скамейки, она посадила его на скамейку и спросила сурово, трясая за плечо:

— Ну, что все это значит?

И он, содрогаясь от слез, рассказал ей все—о том, сколько стоили теперь кровати с литыми шипками в магазине „Друг хозяйства“, и что он теперь нищий, так как все годы его лишений и сбережений ничего не стоят. Из ротонды выходили мужчины, оправляясь на ходу. По мосту наверху тяжело прошел поезд городской железной дороги, протрубив скитальчески. И Бетти сказала решительно:

— Ну, не все еще потеряно... Мало ли есть выходов, надо только решиться.

КОНЕЦ ГЕОГРАФИИ.

VIII. Поезд, раскидывая дым, неся литовскими полями, осенними лихорадками дымились поля и болота. В вагоне-ресторане было тепло—вагон-ресторан несло легко, покачивая, — в вагоне-ресторане крепко пахло Европой: из длинных черепаховых Riga — Berlin — Paris — выходили в вагон-ресторан к завтраку изнеженные пружинами, двухместными глухими купе, глухими коридорами в мягких дорожках. Кофе в голубых фаянсовых чашках плескался; нежнейшие розетки масла, как взбитый пух, чуть желтели, кожа и теплое красное дерево, и напомаженный pikcolo - скопчик в курточке. Невтонов пил кофе у потного широкого окна. Сырые поля в дыму проносились. Из двухместного купе вагона вышла Афина-Паллада, рыжекудрая, перекисеводородная. Афина разжимала розетку на хлебе, прочно высилась кобыльим задом, горой рыжих волос с высоким черепаховым гребнем. За Афиной, обернув ноги пледом, пил коньяк пожилой англичанин с раной чувственных губ, оттянутых складками. Венгерец, самый тот, что походил на испанского короля на покое, в удивительном пиджачишке, с жемчужиной в колбаске серебряно-дымного галстуха, заправлял в рот нежнейший омлет с розовыми стружками ветчины. Прокопов на краю стола писал телеграмму:

„Предложение банкам Риге сделано... четыреста тысяч пудов зерна обмен рыбные консервы франко доставка...“

На нем, вместо кожаной куртки, был темно-синий пиджак, альпийские чулки на крутых икрах. Поезд строчил, близился к литовской границе, к Вербаллену, где за старой русской таможней, мимо разбитых войною развалин домов предместья — была Германия. Граница означалась: все забегали в уборные, пряча в чулки, в подкладки старого Линкольна и те шелковисто-хрусткие бумажки, на которых один только знак английского королевства...

На станции, мимо серо-грязного здания бывшей русской таможни, прогуливались молодые люди в фетровых шляпах, на станции прозванивали шпорами рослые молодцы — литовские пограничники, — от Вербаллена, через два часа скуки, дрянного пива, крепкогрудой буфетчицы, — поезд переполз на германскую пограничную станцию. Поезд медленно проходил мимо серых развалин домов, груд кирпича, длинных сараев, крытых черепицей, все ползло мимо — и вдруг легко, бесшумно подкатился серый перрон с чиншвиком в зеленом сюртуке с серебряной саблей, за высокими окнами здания был сильный голубоватый свет, уже раскатились бесшумно вдоль поезда носильщики со своими тележками за багажом, и против купе Прокопова и Невтонова прошли два высоких, дородных, достойных господина в котелках, самые те, кому дал курчавый молодой человек телеграмму из Каунас о двух вагонах с углем № 1373. Оба господина прошли не спеша, с достоинством меж собой разговаривая, тележки носильщиков уже набухали гранатовыми и желтыми чемоданами, кофрами, портпледами, сун-

дуками, и медленно, вслед за тележками, катилась толпа, сдавая паспорта у входа в ту большую, просторную залу, где свет, тепло и легкий гул, прилавки четырехугольника, куда в'езжали за тележкой тележка и сгружали багаж вдоль по прилавкам, и розовощекие чиновники в зеленых сюртуках с серебряными саблями клеили этикетки.

И другим выходом, часом спустя, выбросило Невтонова, вслед за тележкой, на новый перрон, где, сияя огнями, стоял новый поезд, под немецкими звездами, раскинутыми вдоль темнеющего Остена, вплоть до польского коридора, откуда польские начинались звезды и гасли к утру, в ту самую пору, когда после четырехчасового пролета коридором входил plombированный поезд в целину германской земли, не распаханной плугом исторического передела. Поезд шел ровно всю ночь. Ночью были станции с асфальтовым перроном, никелевыми судками с сосисками и веерами газет в киосках. Немцы в мягких шляпах, с сигарами, с плоскими чемоданами, подсаживались, — и утром еще, в зачинавшийся трезвый немецкий день, юноша со льняным мягким пробором, в суконной курточке, просунул в щель двери поднос с дымящимся кофе в голубых толстых чашках. Черепичными крышами, шашками разделанной земли, мерной курчавостью деревьев неслась трудовая Германия. Осень, уже успевшая пересечь на крышу нового поезда, пока еще гнала мутные облака, несшие дождь к Берлину.

Годы потрясений и войны пронеслись. Обезумевшие народы принялись зализывать раны, фермеры вернулись к своим огородам, и мир, легший на Европу,

нес труд и обычную человеческую заботу. Разрушенные здания восстанавливались, земля, распаханная снарядами и окопами, распахивалась плугами, и Париж жил в эту осень так шумно, так людно, так великолепно, в нем было так светло по ночам и столько людей гналось на улицы жаждою развлечений, желанием танцев, любви, удовольствий, как никогда до войны. В Париже приезжали американцы, испанцы, голландцы; в Париже был лучший балет, и лучшие выставки, и лучшие продукты из колоний. Оккупационные войска Франции стояли наготове вдоль Рейна. Франция посылала своих делегатов, депутатов, министров на лиги, конференции и заседания. И от того, что говорили на лигах и заседаниях эти дипломаты, депутаты, министры—от этого зависела судьба поверженного орла, раскинувшегося от Рейна до Остена, от старой Баварии до старой Саксонии, от этого зависела поступь старого Линкольна в том сером казенном здании биржи, где слышимы железные крики паровозов, увозящих к морю, к вольному Гамбургу и к востоку—к России.

Поезд пролетел еще двадцать пять километров, черепичные крыши вытянулись в закопченные казарменные постройки, в мелкие фабрички—и вдруг сразу стало пасмурно, небо прикрылось округлым закопченным куполом стеклянной крыши вокзала, на серый перрон быстро выбежали немцы с чемоданами—это был Берлин, серый, пепельный, с сепией крыш, с жизнью, бегущей внизу, мимо пестрых витрин, афиш, вывесок—вдоль по сиренево-серому асфальту.

ТЕЛЕГРАММЫ... ТОЛЬКО ТЕЛЕГРАММЫ.

IX. Два депутата сказали на конференции речь. Два французских депутата сказали о том, что больше никаких уступок не будет, что оккупационная армия стоит наготове... Утром речь была передана по радио в Берлин, утром, через час, Линкольн на бирже резко шагнул вверх. Он шагнул сразу, рывком, и те, кто не рассчитали этого движения, сразу же потеряли равновесие. Представитель фирмы The Mondial Dent, только что продавший партию искусственных зубов в Румынию по фабричной цене + 10% заработка, сразу потерял два миллиона марок. В конторе The Mondial Dent было пасмурно от тюлевых занавесок, зубы на полках и на столах лежали, как ракушки,—зубы отправляли в колонии, к неграм, для колонистов. Зубы были всяких цветов, от жемчужно-белых до кремово-лошадиных,—представитель, в визитке, с желтой лысинкой с притертым десятком коричневых волосков и пробором в три пальца, бил по рычагу телефона и кричал в трубку:

—Allo! Allo, вы думаете — я шибер, что могу терять по два миллиона в день? Я только честный коммерсант, я закрою дело — и баста! Я даю телеграмму в Лондон, чтобы прекратили отпуск товара,

оставайтесь без зубов. Посмотрю, как вы проживете без наших зубов.

Представитель нацепил трубку, рывком схватил шляпу и побежал вниз по лестнице, надевая пальто на ходу. Он перебежал дорогу между двумя автобусами и сколопендрию фуры, везущей мебель, и влетел в угловую контору банка. В банке была паника. В банке молодые люди, обычно склоненные над конторками, метались, в банке звонил телефон, в банке краснолицая немка доставала из кожаной сумочки пять тысяч марок, которые вносила на сберегательную книжку. В телефон банка, соединенный с биржей, кричал беспрерывно беловолосый молодой человек в толстых очках, мембрана отбивала ему в ухо:

— 7.200... 7.400... 8000...

— Восемь тысяч доллар! — кричал молодой человек. — Доллар восемь тысяч сто... фунт тридцать шесть...

— Остановите продажу... счета № 385, 1.031, 13.842, — кричал в телефон другой молодой человек.

— Обращайте весь остаток в фунты... берите крупными купюрами.

— Паритет 7.200—100 золотых марок.

Беловолосый молодой человек надрывался:

— Спрос 8.100, предложение 8.150...

Представитель давал срочно предписание банку: обратить весь его счет в доллары... все в доллары, пока они еще в 8.100...

— 8.300 — предложение, — кричал молодой человек. — Настроение биржи понижается... Есть слух, что предложение о мораториуме отклонено, Америка отказалась дать заем...

Линкольн шагал вверх. Паника из Берлина по радио передавалась в Ригу, в Ревель, в Варшаву...

В Риге гончие метались, высунув языки, Закс вопил в телефонную трубку:

— Обращайте в доллары— Вашингтон. Мировиц, обращайтесь доллары... а, чорт, вы слушаете? Allo! Allo!..

Из Риги срочной телеграммой Закса передавалось в Москву Межеринскому:

„Резкое повышение курса связи потери трех четвертей заработка точка дал предписание закупке телеграфируйте срочно ответ“.

Розовый старичок в Москве получил телеграмму на бирже, возле Ильинских ворот, там где стояла на сквере серая часовня памяти плевненских героев и лежали дула турецких пушек. Там, где стояла плевненская часовня героям и где играли дети по дорожкам в серсо, — там была русская биржа, бекеша, папахи, котелки, небритые подбородки, бурки. Бекеша шмыгали, шмыгали котелки, шмыгали небритые подбородки. Вокруг розового старичка стояли котелки — котелки шмыгали и хрипели:

— Даю золото...

— Беру золото...?

— У кого фунты?

— Даю латвийские...

— Литы... у кого литы?

Розовый старичок прочел телеграмму, в золотых очках пролетели буквы телеграммы, плевненский памятник, Ильинские ворота с замшелой снежной крышей. Розовый старичок с тремя личностями бежал по скверу.

— Все на покупку, — говорил он как бы себе, не поворачивая лица, — все на покупку... Покупайте немедленно партиями.

Через час паника прокатилась по бирже в Москве. В Госбанк звонили по телефону агенты с биржи:

— Спрос повышается... предложений почти нет.

Вслед за Линкольном понесся наверх старый золотой рубль. Тресты звонили по телефону, тресты об'являли подсчет товаров, чтобы приостановить до укрепления курса продажу; заседание в Госбанке решило выбросить на рынок партию валюты, чтобы остановить скачку рубля. Валюту наутро следующего дня расхватали, к трем опять не было предложений. Ильинка, сквер, переулки Ильинки кипели. Личности, еще больше обросшие за суматоху, метались, котелки на затылках. Розовый старичок дал Заксу в Ригу следом две телеграммы:

„Закупку не прекращайте“ — и вторую: „Прекратите закупку, держитесь выжидательно“.

Вечером был отдых. Вечером отдыхали в „Косом Джиме“ личности, наглотавшиеся за день соленого воздуха Ильинки; вечером гончие в Риге пили чай в лучшем кафе „Атэ“, где мяукали скрипки, и Фишман, Мориц Фишман, владелец лучшего ювелирного магазина на Александровской, снимал ложечкой легкую пену взбитых сливок. Вечером блестели от дождя камни Риги, мутно светились желтые фонарики у козел извозчиков, с моря шло мерное сырое дыхание. Вечером представитель The Mondial Dent в Берлине получил из Лондона телеграмму:

„Выдача фабрикатов приостановлена впредь урегулирования цен“.

Телеграмма вылетела из туманно-дымного Лондона в пять часов вечера, пронеслась по кабелю под осенне-непокойным Ла-Маншем, гнавшим пенную крупную волну на Гавр, задержалась в вечерне-сияющем бес-

покойном Париже и дальше нырнула в новый провод, выкинувший ее из бронзового аппарата телеграфиста в Берлине, над которым разверзались облака, пригнанные осенью. Шел дождь, и мокрые моторы липко проносились серо-желтым асфальтом, черными животами зонтов распухала толпа, заползая в кафе, кинематографы и пивные. В кафе, где зыбко маячили скрипки, и в паласах, где битой посудой, гудками автомобилей, свистками сирен, ударами барабана дробился джаз-банд, люди сидели, танцевали, пили шоколад и пиво, и где-то спал, забытый на ночь, старческим подагрическим сном старичок Линкольн.

Представитель фирмы The Mondial Dent, получив телеграмму из Лондона, успокоился; в конце концов, он тоже не рабочая кляча, чтобы мотаться весь день и трепать себе нервы. Он тоже имел право на отдых и имел право танцевать, как танцевали все в паласах и в рабочих кварталах, как танцевали в Берлине, в Париже, в Лондоне, как танцевала вся Европа. Он и так уже пропустил в пять часов танцы, и теперь, в смокинге под мокрым пальто, под зонтом, он слез с трамвая и зашел в тот превосходный танц-палас, где окна были глухо закрыты густо-оранжевыми занавесками. Он, не спеша, отдал мокрую шляпу и зонт, притер перед зеркалом щеточкой пару десятков коричневых волосков по бокам пробора и вошел в залу.

Обезкровленная пятилетней войной, сиденьем в окопах, слушаньем воя тяжелых, Марной, Верденом, Фландрией — Европа искала отдыха. Конференции сменялись конференциями, биржа неслась в пространство, как бешеный конь, вынося за собою на улицы

безработных, женщин, валя состояния и возводя новые со сказочной быстротой. После кровавого дележа, еще отрывая от горячей свежины, облизывая усы и урча, государства, государствлица, государственки пятились, приминая задом отведенную географическую клетку и готовясь к новым прыжкам. Армии, сидевшие пять лет в окопах, бравшие Верден и защищавшие Верден, расплзлись сотнями тысяч чиновников, телеграфистов, банковских служащих—на привычные места, сменив шинели и каски на котелки и пальто. Дикая гроза грохотала на Востоке, и потоками ливня смывались и неслись сюда, к прочным западным берегам, толпы смытых людей, растрепавших имена, богатство и славу. Там, где-то за пределами Остена, очищался отравленный газами и пушечным дымом воздух, — здесь возвращались в привычный сигарный дым, в прямой простор улиц, припертых серо-каменными домами, над которыми пылал мировой закат. Люди принимались за привычный прерванный труд, щелкали счета в банкирских конторах, и женщины-кондуктора сменялись мужчинами в вагонах трамваев, словно не было позади дней крушения, крови и смерти, — а уже везли в Европу, в лучшие европейские паласы Парижа, Берлина и Лондона — везли из Америки, с родины мюзик-холля, новые танцы, чтобы люди за конторками и в вагонах трамваев не слишком начинали скучать и задумываться, — везли новую музыку негритянского воя, свистков, барабана и грохота, под которую медленно, колыхаясь, чуть поводя плечами, приникая друг - к - другу, поплыли эти толпы мужчин, женщин, подростков, спариваясь в зыбкости танца, знаменитых фокс-трота и жимми, напевом которых наполнились вдруг все кафе и рестораны, который напевали буд-

ничным утром, идя на службы, и к которому в пять, в шесть, в девять толпами стремились в лучших кварталах, чтобы поплыть, закружиться, почти методически, без единой улыбки, словно выполняя обет или службу. Пара за парой, оставляя стыть чашки с шоколадом и кофе, дожевывая на ходу куски тортов, обсасывая усы в пивной пене, вскакивали из-за столиков на ударный призыв, словно на бой часов или на фабричный гудок, призывающий к службе — в белых залах паласов, кафе и дешевых танцульках...

И в залу, полную теплого запаха женских открытых плеч, сигар, духов, сладкого пара горячего шоколада, в ту неистовую симфонию джазбанда, который привезли на утеху Европы, во взрывы труб и гуденье рожков, — вошел деловито представитель The Mondial Dent, которому сумасшедшая скачка биржи помешала сегодня провести день, как обычно. Он едва успел найти столик, отпить глоток горячего кофе, как уже со спутницей, пылающей рдяною раной немолодого рта, — да и не все ли равно, какая бы ни была спутница, лишь бы кружиться, — поплыл и он в медлительном круге смокингов, открытых платьев и розовяющих плеч, с тем же напряженным и нерадостным выражением лица, с каким кружились все в словно тягостном и беспокоящем танце. Веселый скрипач, с колечками усов, покачиваясь в такт и положив щеку на скрипку, выходил на середину кружащихся, выпячивая круглый живот в вырезе фрака, и в провал такта, когда рассыпались медным ломом литавры похлопывал смычком по заду одной из кружащихся,

а свистун в два пальца насвистывал в рупор, и вращал белками глаз негр.

И как утром того же самого дня кружилась карусель конференции и бирж, соглашений, валюты, политики, так кружилась теперь карусель тех же самых людей, щелкавших днем на счетах и сидевших в креслах на заседаниях, летевших через город на поездах подземной дороги, — ища зыбкого ритма от тревог, беспокойства и задумчивости.

Представитель, откружив восемь танцев до сладкой ломоты в ногах, в половине первого ночи, еще возбужденный горячим бегом крови, надел на влажную голову шляпу, забыл дать швейцару на чай и вышел на улицу. Улицы тускло блестели, фонари расплывались в синеватой марле вечера. Он перешел улицу, провалился в колодезь, и через минуту поезд, в котором возвращались из театров, кафе, кинематографов мужья со своими женами с сетками на непокрытых головах, вспарывал брюхо города с кишками его кабелей, проводов и труб.

Б Е Т Т И.

Х. И Бетти там, в скверике, на скамейке которого сидел Альфред Шенфельд, зыбкий от солода и вина,— Бетти сказала:

— Но если бы кровати стоили не сто пятьдесят, а триста тысяч марок, разве мы ничего не можем придумать?.. Скажи-ка, Альфред, подумал ли ты о том, что если сейчас у нас мало денег, то их может быть современем больше... скажем, через полгода или год. Не надо только торопиться со свадьбой. Надо быть благоразумными. Если у герр Из'единова и не так много денег, зато у него есть дело и покупатели. И есть товар! Ты знаешь, какие марки пришли недавно из Гамбурга... лучшие марки колоний, за которые любители платят, не торгуясь.

— Но разве не все равно нам, какие марки есть в деле у твоего хозяина, — сказал Альфред Шенфельд. — И ведь не нам будут любители платить большие деньги за редкие марки.

— Да, конечно, не нам, если ты не будешь благоразумен... А если бы ты был благоразумен и согласился немного подождать. Ну, скажем, полгода или год. Ты знаешь, что герр Из'единов сказал мне?.. Он сказал мне, что если я буду к нему повниматель-

ней, ну, словом, если я не буду к нему слишком строгой, он через год отдаст мне все дело со всем товаром, а сам уедет в Америку или в Россию, если будет возможно... Можно сделать гарантию, можно взять подписку или вексель... А если у нас будет свое дело... торговать марками не так уж невыгодно, надо только уметь. Любители всегда найдутся.

И Альфред Шенфельд поглядел в темноте на ее ротик, на ее прелестный маленький ротик, который он целовал столько раз у темных дверей ее дома. Он вдруг почувствовал себя совсем слабым.

— Но как же так, Бетти, — сказал он, — как же так... разве ты к нему не так уж внимательна? Ты ходишь на службу аккуратно и уже знаешь насчет марок все, как опытная продавщица...

И ему показалось вдруг, что Бетти поглядела на него чуть-чуть грустно, или даже насмешливо — или это показалось ему потому, что он отвык пить, что он сам не знал, как все это с ним случилось.

— Нет, здесь дело не в марках, — сказала она смутно и покачала головкой, — здесь дело в том, что нам надо на полгода забыть, что мы жених и невеста... и ты совсем не должен ревновать. Через полгода герр Из'единов нас обеспечит, и мы сможем тогда пожениться. Ах, как тогда мы будем любить друг друга!

И Альфред Шенфельд, которому снова показалось, что все поплыло и плыло мимо, и сам он плыл, как распластанная вялая рыба, — Альфред Шенфельд вдруг прояснился.

— Как же ты хочешь, чтобы я оставался спокойным, если этот господин сможет позволить себе лишнее...

— Он ничего не посмеет, чего я ему не позволю, — сказала Бетти.

Тогда Альфред Шенфельд, который уже совсем прояснился, проговорил вдруг решительно:

— Но ведь он может нас обмануть, этот герр Из'единов... И почем знать, может быть, у него долгов больше, чем стоит все его дело.

— На самом деле, мой милый, ты думаешь, что я так уж глупа... Я заставлю его одеть меня как следует... ведь он, наверно, захочет со мной появляться.

И вдруг две черно-серебряных рыбки выплыли из ее глаз и поплыли, искрясь, две малые рыбки, от которых сжалось и заглодело сердце Альфреда Шенфельда.

— Но как же так, Бетти, — сказал он, наконец, — тогда ведь мы будем так мало видаться...

И Бетти ответила решительно, — она сказала решительно:

— Может быть, нам некоторое время не придется и вовсе видаться, но зато потом... Знаешь, как будет потом?

Она прижалась плечом к его плечу.

— Вот представь себе наш магазин... наш собственный магазин. Лучшие марки для коллекций, все колонии, юбилейные марки, и даже коллекции редких денег... Ты утром отпираешь магазин, приводишь в порядок витрину, рабочие приходят прочищать стекла — можно взять безработных, они делают это за гроши... Я сортирую марки, веду кассу, занимаюсь с покупателями. К нам приходят все старые клиенты, слава Богу, мы ведем дело не хуже... Ты пишешь деловые письма, покупаешь коллекции, выпи-сываешь каталоги. От часу до трех мы закрываем и

идем домой обедать. Я буду придвигать тебе самые лакомые кусочки... (— Дай мне губки, — сказал Альфред Шенфельд; они поцеловались у всех на виду). — После обеда ты часок отдохнешь, а я буду собирать по хозяйству...

— А если... ты забыла — Бог даст, ты принесешь мне сына...

— Да, тогда мы уже сможем иметь детей, — сказала Бетти серьезно.

— Я бы хотел двух: мальчика и девочку для начала. И потом еще двух. А если бы это были все мальчики... знаешь, пять мальчиков, как на подбор. Раньше кайзер приезжал благодарить за пять мальчиков кряду.

— Ах, если бы он мог приехать, мы бы тогда уж постарались... Но это потом. После обеда мы снова идем в магазин, нас все уже знают, как солидных коммерсантов, нам открывают кредит лучшие фирмы.

— Да, и все говорят: — Здравствуйте, герр Шенфельд. Здравствуйте, фрау Шенфельд.

— Да, все говорят нам это. Нас знают в банке, где мы держим деньги...

— Лучше всего в Торговом, все-таки это самый солидный банк.

— Не плохой и Восточно-Прусский, там держат деньги лучшие коммерсанты.

— Хорошо. Можно и в Восточно-Прусском.

— Ну, вот. К семи я подсчитываю кассу, ты кончаешь свои дела и запираешь магазин. Мы возвращаемся домой, ужинаем, и потом идем куда-нибудь...

— Если дети будут здоровы...

— Ну, разумеется, если дети будут здоровы. Куда нибудь в кафе или в кинематограф, сейчас даются такие чудные картины.

— О, да!

— И потом мы идем домой...

— Да, потом мы идем домой, — Альфред Шенфельд опять смотрел во тьме на маленький ротик. — Мы идем домой, и ты открываешь постельку... для нас, не правда ли...

— О! (Они опять поцеловались).

— Да, но все это все-таки только через полгода, — сказал Альфред Шенфельд со вздохом. — Полгода мы должны ждать... Но я каждый день буду приходить в магазин и провожать тебя, если можно... Ты можешь сказать, что я твой кузен.

И Альфреду Шенфельду стало вдруг тяжело; он смотрел на маленький ротик и на пальчки руки, лежавшей на его колене и пахнущей апельсином.

— Но он захочет, чтобы ты всюду с ним появлялась... у тебя совсем не останется времени, чтобы думать обо мне.

— О, мой милый мальчик, я всегда буду думать только о тебе. И, наконец, изредка мы будем встречаться. Ты знаешь, я даже не все буду посить, что он мне купит, я буду беречь для нас, когда мы будем вместе.

— Все таки это очень тяжело — так долго ждать, — проговорил он снова. — И, наконец, разве можно знать, сколько все тогда будет стоить. Наверно, через полгода те же кровати станут в три раза дороже.

— Ну, тогда-то мы сможем их купить. Мы оба тоже будем бережливы и постараемся накопить для нашего счастья.

Они долго еще сидели на скамейке; реже ревели поезда штатдбана, с грохотом проносясь по мосту. Туча, наползавшая на город, стала сеять дождь. Тогда они поднялись и медленно пошли к дому. И опять у темных дверей Альфред Шенфельд поцеловал маленький горячий ротик, пахнувший апельсинами, ротик, который полноправно он сможет целовать только через полгода, когда они накопят достаточно денег и будут иметь свое дело.

Он поздно пришел домой и сейчас же уснул от всего пережитого. Утром на службу он явился на четверть часа раньше всех, он объяснил, что вчера угорел от печки, — и ровно, деловито покатился торговый день в торговом доме Кремниц и сын: в шляпное отделение заходили франты и покупали дорогие модные шляпы, и заходили деловые люди купить недорогой деловой котелок, и Альфред Шенфельд вертел перед теми и другими шляпы, пробивал ребром ладони складки в мягком фетре, легко вскидывал высокие стопки шляп — одна на другую, был деловит, любезен, внимателен с покупателями и бережлив к дорогому товару, как его учили и как того требовали интересы торгового дома Кремниц и сын.

ЖЕЛТАЯ ЗАНАВЕСКА.

ХІ. В семь вечера, отправив сорок два поезда, — после дня, когда Линкольн опять лез и лез вверх, — Дрешер шагал со службы, ставя ровно ноги в стоптанных начищенных башмаках, с измятой газетой в кармане. Лучшие умы прикидывали и размышляли, не один десяток гехеймратов ломал себе голову, а Линкольн все лез и лез вверх, и великая Германия была теперь не великой уже, а холодной ошипанной курицей. И сердце Дрешера сжималось, как сжимались у всех частных людей сердца, руки его в карманах складывались в кулаки, он шел, посылая проклятия, и на губах у него была горькая пена истинного патриота.

Осень осела гиблым туманом, с утра шел мокрый снег, сбившийся в холодное месиво. Люди под зонтами месили месиво, трамваи в тумане мутно светились, как погребальные свечи. В освещенных моторах проносились в театры люди с ссадиной сигары во рту и розово-пышные женщины с непокрытыми головами. Перед варьете была вывешена пестрая новая программа, у входа жирно чернела толпа. Он толкнул женщину в большой шляпе, он не извинился, ноги его в рваных башмаках были мокры, и на усах была сырость. Весь день он отправлял поезда, работал, как кляча, сидел в своей жаркой будочке, где были звонки,

рычаги, аппараты, на крыльях его носа была копоть, — а здесь беспечно неслись в экипажах и ауто те, кто целый день не делал ничего, сидел в кафе и гулял по улицам. И он толкал всех и не извинялся, руки его в карманах сжимались в кулаки, на носу его висела холодная капля

Два раза в неделю, в понедельник и пятницу, по дороге домой он заходил к Гуго Клаусу, к портному Гуго Клаусу, с которым вместе отбывал он лагерные сборы и которого знал еще подмастерьем. Два раза в неделю вместе шли они выпить в бирхалле по паре кружек светлого, потолковать о политике и о разных делах, про которые пишут в газетах. Гуго Клаус был сначала подмастерьем у старого Шмидта, потом был он закройщиком в солидной фирме Ширер и сын, портачил три года солдатские брюки и куртки, — теперь, наконец, Гуго Клаус кончил и с Ширером, и с войной, — Гуго Клаус был хозяин. У него было свое дело, свое дело с вывеской „Принимаю заказы, мужской элегантный портной Гуго Клаус“, у него были на окнах материи и была мастерская, где сидели на верстаке два подмастерья в серебряных очках, — Гуго Клаус, наконец вышел на дорогу. Ему уже несли в починку и утюжку брюки почтенные люди этих улиц, — все больше и больше полезных и прочных вещей появлялось в его мастерской и в салоне, где стоял уже новый зеленый диван, стол с журналами и прилавком, за которым на полках разложено было много кусков материй. У Гуго Клауса была золотая жена, а хорошая жена — это честь фирмы, это лучшая половина фирмы. Когда она стояла за прилавком, прочная и тугогрудая, как черный манекен, все смеялось: визитки разевали свои длинные рты, и смокинги лосни-

лись, и улыбались своими глазастыми пуговицами ульстеры, и в самом деле — все выглядело светлей и прочнее. Гуго Клаус, наконец, своего добился, и теперь он мог без труда ходить в бирхалле каждый день и пить много пива, между тем как он, Дрешер, у которого прежде был такой большой извозный двор, — он мог бывать там только два раза в неделю и пить самое дешевое светлое пиво, не больше двух кружек...

И Дрешер опять толкнул человека в котелке и не извинился, он посмотрел злобно в окно меняльной конторы, за которым ухмылялся Линкольн, и ухмылялись другие зеленые, и белые, и желтые бумажки всех стран, такие невинные на вид, но всеисильные бумажки... Он опять ощутил пальцы сырых ног в сношенных ботинках и шагнул дальше. Снова вывеска „Мужской портной Гуго Клаус“ улыбалась, опять фрау Клаус улыбались за стеклом смокинги; она подперла локтем крепкую грудь и улыбалась, и посетитель, которому отрывал Гуго Клаус пристроченный рукав, тоже улыбался, и улыбался Гуго, водя ребром мелка и закрепляя булавки, лезшие из его рта... Дрешер вошел в магазин, в магазине было тепло, и Гуго кивнул ему головой:

— Присядь, я скоро свободен, — а фрау Клаус спросила: — Как здоровье вашей госпожи-супруги?

— Благодарю вас, хорошо, — ответил он.

— А здоровье вашей дочки?

— Тоже хорошо, благодарю вас.

— Как рано пришла осень, не правда ли? Теперь, наверное, такая погода будет до Рождества.

— Да, скорей всего, что до Рождества будет такая погода.

И вдруг из-за плеча посетителя он увидел, что висит на дверях мастерской новая прекрасная занавеска из желтого шелка, вытканная крупными лиловатыми цветами.

— Откуда у тебя эта занавеска, Гуго? — спросил он.

— Это жена купила по дешевке.

— Но ведь это превосходная занавеска, — сказал он, подошел и пощупал. — Где это она нашла такой товар?

— Да, занавеска, на самом деле, отличная.

Клаус улыбался довольно.

— Это подвернулся хороший случай.

— Удивительно, как это вам все подвертываются случаи. Такую занавеску сейчас не купишь и три тысячи за аршин.

— О, жена всегда сумеет найти товар по дешевке, — сказал Клаус довольно.

И посетитель, которому он уже пришил рукав, тоже сказал:

— Я с самого начала обратил внимание на эту занавеску. Отличная занавеска.

Втроем они подошли к занавеске и стали ее щупать.

— Это настоящий тяжелый шелк, — сказал посетитель.

— Да, шелк настоящий.

Дрешер потер его между пальцев.

— Это шелк еще довоенной выработки.

— Да, несомненно, — сказал посетитель. — Однако, вы распухаете, герр Клаус, понемногу. Смотрите, совсем превосходный магазин. Не вздумайте только по этому поводу повышать цены.

— Для старых заказчиков всегда старые цены... ну, а для каких-нибудь шиберов, у которых доллары...

— О, для шиберов!..

И Клаус опять стал снимать с булавок рукав. И опять улыбалась за прилавком ффрау Клаус, и улыбались визитки, и лоснились улыбочиво смокинги. Наконец, когда ушел посетитель, Дрешер сказал:

— Ну, долго еще ты будешь возиться? — И Клаус ответил довольно: — Сейчас, сейчас, друг... А все-таки, не у всякого есть такая занавеска, что ты скажешь? Когда висит такая запавеска, можно взять за костюм и подороже... Это только жена умеет находить все так удачно и дешево. Она обошла все магазины, прежде чем нашла такую занавеску. А как ты думаешь, не лучше ли будет, если перевесить занавеску на окно, тогда она сразу станет заметна издалека.

— Да, но занавеска будет выгорать от солнца, — ффрау Клаус всегда скажет хорошо.

— Верно. И это верно. Лучше уж пусть висит здесь.

Гуго Клаус надевал котелок. Гуго Клаус хорошо кончил день, и он мог идти пить пиво и прийти в магазин наутро, когда угодно, на то он хозяин... И разве не все равно для дела, когда он придет в магазин, если есть такая часть фирмы, лучшая часть фирмы, золотая часть фирмы — ффрау Клаус... А что его, Дрешера, жена? Когда-то она была тоже румяной и крепкогрудой, как она проворно бегала через их извозный двор, а теперь она высохла, она стала, как картофельная кожура, от этой проклятой войны... Ах, мало ли таких, кому война пошла на пользу! Есть такие, которые на войне сделали себе состояние, и есть такие, которые потеряли половину туловища и теперь распевают на тротуарах, а прохожие даже не бросают в их шапки денег...

И в бирхалле, напротив, где обычно они сидели вдвоем и пили светлое, говоря о разных делах, —

в бирхалле Дрешер сказал, даже не Дрешер сказал, то-есть наверное даже не он сказал, — а пиво сказало в нем — выпил его от злобы он больше, чем пил всегда, — пиво сказало:

— Что такое, в сущности, твоя занавеска? Простая желтая тряпка. Стоило поднимать о ней такой разговор.

— Моя занавеска — простая желтая тряпка? Моя шелковая занавеска — простая желтая тряпка? — Лоб Клауса вдруг залоснился. — Но ведь ты же сам говорил, что она очень красива, и что это шелк довоенной выработки.

И опять пиво сказало за Дрешера:

— Я говорил так для покупателя. Но ведь и покупатель видел, что занавеска эта недорого стоит.

— Недорого стоит? — Теперь и уши Клауса заливались, он пучил глаза. — Да, конечно, она недорого стоит для того, кому надо неделю работать, чтобы купить такую занавеску. Сколько поездов ты должен пропустить за неделю? Триста поездов — за желтую занавеску, ха-ха, это недорого. Совсем даром.

— Какое тебе дело до моих поездов? Следи лучше за своими штанами.

— Ты грубиян. Ты подавился от зависти, что моя жена так отлично покупает. Пошли лучше свою покупать, если есть на что.

— Солидное дело, однако, нечего сказать! Повесили желтую тряпку и теперь думают, что покупатели так на нее и повалят. Мало они видели тряпок.

— Молчи лучше, молчи лучше, пока я тебе еще не сказал... Я тебе могу такое сказать...

— Что ты мне можешь сказать?

— Что ты от голода очумел, картошка бросилась тебе в голову.

— Ах, ты, портняжка! Давно ли ты перестал шарить по карманам штанов — не забыл ли кто пару пфеннигов, отдавая в починку.

— Подземная крыса!

— Портновский верстак!

Они лоснились лбами, пучили глаза и замахивались друг на друга пустыми кружками.

— Чтоб ноги твоей не было больше в моем деле!

— Очень мне нужно твое дело! Мало ли у меня в доме старых тряпок!

И на углу улицы, помахав еще перед носом друг друга палками и покричав так, что два зеленых полицейских тронулись, не спеша, с угла, заложив за спины руки, — они разошлись. Они шли в один и тот же дом разными дорогами, они задыхались.

— Этот дурак, — сказал Клаус жене, — от нужды он совсем очумел... На самом деле, с его головой дальше службы никуда не уедешь.

— Этот прохвост, — сказал Дрешер жене, — он уже воображает о себе Бог знает что... Старый Шмидт сбыл ему манекенщицу, лежалый товар, вот теперь она командует им и, Бог знает, с кем путается.

В эту ночь между четвертым этажем, где жил Дрешер и между вторым этажем, где жил Клаус, — промаячила черная тень, — утром Дрешер пошел на свой вокзал другою дорогою; утром Клаус вошел в свой магазин, он потрогал желтую зававеску и даже провел ею по лицу, — это был настоящий шелк, второе украшение фирмы, теперь тоже часть фирмы, как часть фирмы — хорошая, золотая жена.

КОНСОРЦИУМ.

ХП. Невтонов под периной, в жаркой комнате пансиона Stella, два раза облился потом, к утру он уснул. Перина была легкая, как взбитые сливки, — немецкое утро проползало сквозь тюлевые занавески. Утром умывался Невтонов в тазу, и утром принесла ему белопенно-красная фрау Штиллер, хозяйка пансиона, кофейничек с жидким желудковым кофе и две половинки белого хлеба, намазанные тертою сливой. Хозяйка была, как ученая старая крыса, белая с красными глазами, — хозяйка разминала морщинки:

— Условия моего пансиона, герр доктор? За ванну, за отопление, за освещение — плата отдельно. Объявленные цены действительны только три дня, ввиду неустойчивого курса. Дам к себе после восьми не водить. Уплата производится каждое утро за предыдущий день. Какая валюта в вашей стране, герр доктор? С иностранцев, у которых валюта высокая, плата вдвое.

Крыса надевала очки; внизу, как гигантские сколопендры, ползли длинные фуры для мебели, а из почтового отделения, как из голубятни, разлетались стайкой на трехколесных велосипедах сине-красные почтальоны.

С планом в руке, сторонкой, через час Невтонов брел в старом своем московском пальтишке; он раскрывал план на всех углах, смотрел на все омнибусы, залезал в колодцы, тыкался не на те пути — он ехал покупать книги, просматривать каталоги, изучать, что же придумали в Европе и что еще украли у вселенной из всех ее тайн за пять лет русских усобиц, тифа и голода.

А Прокопов уже летел через город; он летел в моторе по ровным аллеям Тиргартена, мимо белозорых водителей, смытых девятым ноября, он скакал с трамвая на омнибус, взбирался на крыши, — он имел уже беседу с двумя банками, предлагавшими кредит и товары в обмен на сырье, — и теперь торопился к представителю консорциума банков, которые все хотели помочь, дать товары, кредит, все хотели помочь как один, — а там, где-то в штеттинском порту, уж сгружали лен и пеньку, лен и пеньку, которые вез он менять на машины, — и там, позади, за льном и пенькой, были еще русские пространства, зацветающие на десятки верст голубым льном и коноплей, были русские степи в жидких волнах золотой пшеницы, была тайга со зверьем, были русские моря и озера с чудовищными рыбами. И представитель консорциума банков — он тоже знал зелено-лесистую карту России, о которой знали англичане, американцы и японцы, и у представителя был листок, на котором по клеточкам написаны были вопросы: „лен? пушнина? рыбные промыслы? коммиссионные конторы? расплата в валюте? срок?“

Представитель сидел в низком кожаном кресле у американского желто-дубового бюро; на столе стоял телефон с батарейками цветных кнопок, в кабинете лежал

темно-оливковый ковер, двери были с непрозрачными стеклами, но в кабинете было глухо, тихо и роился над сигарой на пепельнице синий угарный дымок. За окном была серая стена, серая стена бросала в кабинет серо-деловой отблеск дня. Представитель нажимал кнопки и говорил в трубку:

— Цена... предложения... партия... паритет.

На представителе был узкий пиджачек в талию, в поперечных складках от толщинки; волосики были соломенно-белые, коротко-подстриженные на затылке—по моде. У представителя были усики: два соломенно-белых перышка, чуть кверху, очень надменные. Представитель предложил Прокопову сесть, поплыв в сигарном дымку.

— Я имею честь вас уведомить, что консорциум заинтересован вашим предложением и готов всячески пойти навстречу... — Рука хотела было стряхнуть колпачок пепла, но раздумала и бережно поднесла сигару ко рту. — Мы рассматриваем Россию, как дружественную страну, которая одна может способствовать нашему экономическому возрождению... т.-е., с нами в союзе... Вся Европа зашла в экономический тупик, — добавил он впопыхах. — Нас интересует, могли бы мы в обеспечение кредита и товаров получить концессии? На рыбные промысла? Аренда дубильных и химических заводов? Лесные участки? Торфяные разработки? Пушнина?

— Я имею на обмен только лен и пеньку, — сказал Прокопов упорно.

— Отлично. И то, и другое отлично. Не могли бы вы в двух словах описать современное экономическое положение России. Много ли сдано концессий американцам? Правда ли, что заключены соглашения с французской торговой миссией? В каком состоянии нахо-

дятся рыбные промыслы? Правда ли, что в связи с плохой охотой в минувшие годы количество улова удвоилось? Какое отношение к концессиям на рыбные промыслы? Как добыча пушнины? Возможен ли экспорт пушнины за границу?

— Мне нужны машины, — сказал Прокопов, — машины в обмен на лен и пеньку. И кредит.

— Отлично. Но какая гарантия на кредит? Лучшая гарантия — это предоставление концессий. Консорциум не настаивает непременно на рыбных промыслах, можно и сводку лесов.

— Льна на месте имеется для обмена сто двадцать тысяч пудов; пеньки... — Прокопов слова отбивал.

— Отлично. Мы можем предложить в обмен красящие вещества, сахарин.

— Мне нужны машины.

— Кредит химическими товарами...

— У меня имеются предложения лондонских фирм, — сказал Прокопов. — Лондонские фирмы предлагают кредит...

— Лондонские фирмы никогда не предоставят такого кредита, как мы. Кроме того, мы имеем возможность непосредственного обмена. Химические товары могут быть доставлены в кратчайший срок.

— Машины...

— Что касается машин, то можно заключить соглашение сейчас же, после этой сделки... Кстати, неужели нельзя рассчитывать на сбыт германских фабрикатов в России? При понижении ввозной пошлины, необходимость в немедленном восстановлении русской индустрии пропадет, что значительно облегчает задачу государства. Германские фабрики обойдутся гораздо дешевле и будут лучшего качества...

Представитель обещал доложить предложение, ответ будет в среду; заинтересованность в предложении — несомненная; просьба — воздержаться от соглашения с Лондоном... О, этот Лондон!

И Прокопова понесло уже дальше — в банк, в кафе, в парикмахерскую, где парикмахер сушил ему голову гудящим электрическим удавом, которого волок на спине. — Прокопова вечером выкинуло в поток толпы, бредущей по сохнувшим улицам, и дальше несло и крутило, как пять лет несло по всем русским окраинам, по Туркестану и Мурману, по Кавказу и тамбовским, симбирским, рязанским губерниям, — все дальше, в электрическую ночь, глухо дожевывающую вечерние толпы города.

ЧЕРЕПАХА.

XIII. Желтый человек в телескопных очках; желтый человек в телескопных очках, под височными костями, под лопаткой четырехвершкового желтого лба которого лежала вся европейская мудрость; философия, естествознание, медицина, мистика Рудольфа Штейнера, принцип относительности Эйнштейна, экспрессионизм, юбилей Гергардта Гауптмана, теория мирового крушения Шпенглера, мемуары кронпринца, процесс убийц Ратенау, новая евгеническая теория, теория омоложения по Штейнаху, нео-нео-сальварсан 1354, опыты с пересаживаньями частей тела, новые способы изучения преступности, опыты с твердым ядром сгущенного воздуха, подтверждение теории о необитаемости Марса с астрономическими выкладками, новые романы Келлермана, Банга, письма Гете, новейше изобретенный газ, который может свести с ума целую армию, — желтый человек, вметивший под черепную крышку всю историю немецкой философии, глядящий на мир апокалипсическими стеклами, за которыми копошились его знания, — желтый человек, похожий на черепаху, провел Ньютонова вглубь полок, встававших узкими прямыми рядами, как улицы старой готической Риги; на полках книги стояли желтыми, лиловыми, синими ребрами, с вы-

рванными кое - где коренными — пасть за пастью: и в пастьях захрустел Невтонов, перелезая из отдела в отдел... Это были все книги Европы за пять лет русского голода и вымороженных аудиторий, препаратов, из которых выпили спирт, украденных банок с глистами и беспозвоночными, которых под веселый самогон перематывали с зуба на зуб, как итальянских *frutti di mare*...

Были отделы — о детской преступности, о способах обращения с керц-лампой, труды о безболезненной экстракции коренных зубов, о новом виде земляных червей в северной части Швейцарии, шесть томов изучения влияний войны на психологию современного человека; исчисление количества калорий и азотистых веществ, утерянных человечеством в минувшую войну; тринадцать книг, освещающих неудачу и обход 10-го корпуса во Фландрии с планами и опубликованием всех приказов; конструкции сорокаместных аэропланов; могущих сбрасывать стопудовые бомбы...

Под шум войн, крушений, под мерный плеск толп, несомых и несомых вдоль асфальтовых берегов, — в лабораториях, кабинетах, в башнях обсерваторий, на климатических станциях, питомниках, оранжереях, в кабинетах Рентгена — такие же люди с апокалипсическими стеклами очков, похожие на черепах, составляли диаграммы, выверивали чертежи, колыхали реторты, измышляли, как убивать сразу тысячу людей, как сводить с ума газом целую армию, как прикреплять искусственные руки, чтобы они двигали пальцами; как сбивать аэропланы и как совершенствовать их; как оздоровить экономическую систему, какими новыми педагогическими теориями поднимать нравственность и религиозность в населении, как пробу-

ждать спортом в рабочих охоту к труду, как бороться с забастовками — и как вводить в единую формулу неизбежность мирового крушения...

И желтый человечек глядел на Ньютонова двумя туго-выпуклыми телескопами: он все знал, всю мировую мудрость, которую камень за камнем разымала за годом год наука у Вселенной, обескровливая ее, сводя ее тайны к формулам и чертежам, отнимая у звезд таинственный блеск и вводя его в алгебраические таблицы; подводя тайный бег человеческой крови под схемы отклонений; покоряя пространства, влияя на происхождение человека и на его пол; отмеряя сроки влияния планеты, на которой несло человечество во Вселенной со всеми своими маленькими войнами, международными распрями, выборами, партиями, политическими строями, дипломатией...

С обезьяньей жадностью, перехватывая книгу за книгой, Невтонов листал страницы, близорукий глаз заглядывал внутрь — в пузырь неразрезанных, сердце билось учащенно, — Невтонов припикал к источнику, от которого пять лет был оторван, надо было внюхать весь терпкий запах листов... Он слезал с лесенки с слабыми ногами, с мутными стеклами очков, — он узнал только сотую часть, и стопочки отложенных книг лежали десятками выдранных зубов в гигантской челюсти полок... Желтолобый человечек приглашал его завтра, приглашал его каждый день — они были теперь, как два любовника, годы оторванные друг-от-друга. И московские мутные очки погружались любовно в телескопно-плавкую мудрость...

Невтонов обедал в рестораничке, где тоже желтолобый скрипач припикал к скрипке и баюкал ее, качаясь; и розоволосый хозяин тоже качнулся вдруг, вослед

скрипичному плачу, и поплыл через зальце к розоволицей, золотозубой даме с бархатным бюстом-конторкою и в шляпе с мохнатыми перьями; и под скрипичную муку, в элегантнейшем жимми, поплыли они паром в зальце, рука прижав бархатный зад, живот к животу и грудь к груди, и щека к щеке. Подрагивая плечами, они плыли и плыли, и рука с пальчиками—сосисками амура—все крепче вникала в бархатный зад, и тяжело ходила бархатная пудовая грудь возле розово-выбритой щеки, и глазки шурились и смыкались под музыку, и все не мог хозяин получить всего, всего удовольствия... И опять, закончив весь жимми, начинал его желтолицый скрипач по знаку хозяина снова, — а у хозяина была такая мука, что он все не может, не может получить всего удовольствия, — он все качался и принимал — и уже сомкнулась с ним бархатная дама, стопудово, тысячепудово ходила двойная кровь, а ноги были легки-изначально, — и вдруг... Вдруг закончил жимми скрипач, вдруг повел хозяин, пригнувшись, даму на место, — ничего не случилось только кончился танец, и была уже дама не измятой, а бархатно-облицованной, округло-лито-бархатной, и золотом, прочным золотом блистал ее рот, ибо не для поцелуев рот, а для мерного перемалывания пищи, и если бы можно было заливать его цементом, бетонировать, чтобы был он несокрушимо-прочен, как несокрушимо-прочен бетонно-коричневый зад, от которого натерлись и вспухли пальцы амура—сосиски.

КАФЕ КРИСТАЛЛЬ.

XIV. — Де-цет, де-цет! — продавцами, несомыми крыльями утренних газет, события дня определились. Поверх голов лист за листом, вдруг вся толпа расцвятилась развернутыми листами газет, под мостами, на лестницах штадтбан, па ходу газеты читали все, парусом вздувался лист на крыше омнибуса, как бы неся его по ветру.

— Де-цет! Де-цет! Кровавое побонще в цирке! В цирке, в том самом цирке, где вечером полет через огненное кольцо смерти из-под купола, где знаменитый Лангшмидт со своей поющей куклой — тайной XX века, — в цирке побояще. В цирке, где захотели устроить свое собрание члены национального союза, эти почтенные бюргеры, лучшие домохозяева, — в цирке негодяи раздавали листки, негодяи утверждали, что грозит опасность республике. Опасность республике от лучших сынов Германии! Что смотрит президент полиции? Правда, что среди арестованных много русских? Отчего не выселяют иностранцев? Вильгельм женился, но кронпринц изучает банковское дело. Если Вильгельм женился, какое может быть до него дело — он сам себя отрезал навсегда для народа. Но—кронпринц, который изучает банковское дело! Кронпринц не изменил стране, он изучает банковское дело в Гер-

мании. Правительство молчит, правительство смотрит сквозь пальцы. Если правительство не видит, если президент полиции умывает руки, — надо каждому честному гражданину вмешаться, надо указать на опасность. Опять убит один полицейский, один из верных хранителей общественной безопасности, опять осиротевшая семья! Если так будет продолжаться, какая гарантия безопасности может быть для любого честного гражданина? Не угодно ли снова девятое ноября! Но тогда надо говорить об этом честно. Тогда ему, Курту Мюллеру, владельцу кафе „Кристалль“, надо продать свое кафе, кафе, для которого он пятнадцать лет копил деньги, кафе, в котором по его указанию развешаны люстры, для которого он купил еще в прошлом году новенькие диваны с бархатной обивкой и красный ковер, кафе, у которого есть уже свои посетители, уважаемые люди, кафе, для которого зажигается по буквам над крышей электрическая реклама, и все видят эти буквы, которые сияют над ночью. О!

Удар кулаком по листку, удар мясисто-волосатым кулаком по листу.

— Закрывать кафе, к чорту! Опять девятое ноября! А пушки, а пулеметы, а полиция! А доблестная Бавария! Разве все граждане не встанут против них, против этих негодяев, разве он, Курт Мюллер, отдаст свое кафе, для которого он пятнадцать лет копил деньги, как вол, в котором все по его указанию, в котором каждое утро работает электрический пылесос для гигиены. Кто заботится о посетителях? У кого лучший надзор в кухне, вкусные пирожные, добротней эйс-шоколад? А напитки из бара? Аперитивы? Где лучше сбивают вейн-шато, где вкусней зильберфиц, где крепче коктейль? О!

Удар кулаком по газете, удар мясисто-волосатым кулаком по газете.

— Угроза с Востока? — Пулеметы! Экономическое сближение? — Концессии, да! Взятие подрядов, — да! Экспорт фабрикатов, — да! Обмен на необходимое сырье, — да! Союз с Россией, — да, но ни одного из них сюда без дела, высылка иностранцев, очистка Берлина! В цирке Буша — убийство полицейского, обезумевшая от горя, оспротевшая семья. О!

— Фриц, Эрнст, вы слышали? Где *rikolo*, почему он запаздывает на службу? Негодяй тоже хочет учиться у цирка. Итак, Эрнст, Фриц! Все иностранцы в кафе платят штейер — дороговизну, все платят с надбавкой в 50%. Слава Богу, кафе „Кристалль“ не нужны американцы, пусть другие ищут американцев. Достаточно и своей уважаемой публики есть еще у кафе „Кристалль“, кафе для немцев, а иностранцы пусть платят штейер.

— 12-часовой! обеденный! 12-часовой выпуск! — Продавцами, несомыми крыльями полуденных газет, перелом событий определился. Зачинщики кровавого побоища у цирка схвачены, президент полиции гарантирует гражданам безопасность, все иностранцы, кои не смогут доказать необходимости своего пребывания — выселяются.

— Ага, Фриц, Эрнст, читайте! Читайте, друзья мои! Что говорил Курт Мюллер, — вот что значит сильная власть. Молодцы баварцы! Говорят, официанты и повара в Ганновере требовали восьмичасового рабочего дня. Что вы об этом скажете, друзья? Что вы скажете, если в один прекрасный день закроются все кафе, и вы все, целая армия, останетесь на улице? Слава Богу, вы понимаете, что одни негодяи

и сумасшедшие могут думать об этом. А теперь — довольно с газетами, теперь дайте мне Библию.

Курту Мюллеру без пяти минут в час приносят Библию. С часу и до пяти вечера, подперев голову розово-мясистым кулаком, Курт Мюллер читает Библию.

„Начальнику хора. Псалом Давида. Глас мой к Богу, я буду зывать; глас мой к Богу, и он услышит меня“.

Уже пролился мутно-синий вечер, прогудели на кирке колокола, уже пришли музыканты и дважды сыграли Иозефа из „Мадам Помпадур“, дважды сыграли уж жимми...

„Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, ты дивно велик...“

Все на своих местах и идет заведенным порядком. В кухне звенят ножи, из крана льется желто-пенное пиво, оберты пробегают в своих белых курточках — на пальце по кружке, и тянет посетитель через соломинку гранатовый шерри. Вздвигают над крышей и вспыхивают буквы К-р-и-с-т-а-л-л-ь, и проборчато-взлизанный pikcolo открывает посетителям дверь.

В 6-ти часовом выпуске, которым обволакиваются вечерние толпы, в 6-ти часовом выпуске есть уже некролог полицейскому, убитому при столкновении у цирка, есть уже имена трех его малюток, трех белокурых малюток.

„Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне“.

— Pikcolo, дай господину огня... Каковы негодяи, нет, каковы негодяи — распространять листки, сеять

в населении рознь. Но разве не лучшие люди вошли в национальный союз? Германия еще будет великой. О!

Музыканты играют „Стражу на Рейне“.

— О! Еще переплеснется Данциг и польский коридор, еще жива старая непобедимая Германия... Встать, господа! Встать, уважаемые посетители. Гимн в честь Германии, старый гимн в ее честь.

В вечернем листке портрет убитого полицейского — совсем молодой человек, унтер-офицер 16-го дивизиона, храбрый солдат... Канальи! У цирка, у самого цирка, где гала-программа, полет из-под купола цирка через кольцо смерти и Чудо XX века — Лангшмидт со своей поющей куклой... Разве не могут такие события отразиться на сборах.

Электрическими буквами К-р-и-с-т-а-л-л-ь вспухает осеннее небо, электрические буквы выпкают вглубь облаков, отпечатлеваясь в умах проходящих —

— К-а-ф-е К-р-и-с-т-а-л-л-ь... Куда пойти вечером! В

к-а-ф-е К-р-и-с-т-а-л-л-ь. — Где тепло, уютно и вкусно? в

к-а-ф-е К-р-и-с-т-а-л-л-ь. — Где..? где..? где..?

в к-а-ф-е К-р-и-с-т-а-л-л-ь,

в к-а-ф-е К-р-и-с-т-а-л-л-ь,

в к-а-ф-е К-р-и-с-т-а-л-л-ь.

ЧУДО XX ВЕКА.

XV. Лакированный шкафчик с зеркальными дверками. За зеркальными дверками — бронзовый механизм. Герр Лангшмидт показывает публике в цирке — чудо XX века — поющая кукла или живое существо.

Герр Лангшмидт хлопает палочкой в открытых дверях шкафчика — шкафчик пуст. Герр Лангшмидт закрывает дверцы, пускает механизм, дверки распахиваются, в дверках бюст девушки, восковой бюст девушки. Восковая кукла под светлыми косами, матово-розовая, поет. Кукла с бронзовым механизмом, колеса его вращаются за стеклом, — кукла поет так человечески-грустно, глаза ее туманятся и мигают, губы напряжены и под ними мелкие белые зубы. О чем поет кукла? — Сладкий сон... тихий сон... Тихий сон проплывает над цирком, — тихий сон...

Герр Лангшмидт захлопывает дверцы, герр Лангшмидт поворачивает шкафчик и достает сзади бюст куклы, парикмахерский бюст—чудо XX века—восковая кукла, поющая ангельским голосом. Герру Лангшмидту сухой плеск ладоней, герра Лангшмидта с его удивительным изобретением провожают бешеным треском. Герру Лангшмидту вослед катят на колесах шкафчик. На Лангшмидте фрак и белый жилет, волосы его лаково-слизаны, дымчато-желтые волосы.

усы пиками торчат кверху, лоско-бинтовые усы, волосик к волосику. У Лангшмидта пять золотых жетонов, все по борту его фрака, у него лаковые башмаки с длинными носами, у него одиннадцать золотых зубов, сияющих на луче рефлектора.

Герр Лангшмидт снимает в уборной фрак, он отстегивает тугий воротничек, от которого посиззела шея. Он раскутывает газ, в который укутана восковая кукла, и вдруг рука с тонкими белыми пальцами возникает из газа, рука поднимается в воздух и обнимает нежно его красную натуженную шею. И ангельский голос, тот же самый ангельский голос восковой куклы, что пел перед публикой в цирке,—ангельский голос произносит:

— Ты очень устал, паппи?

И Лангшмидт переносит куклу — обрубок человеческого тела, он переносит и сажает ее на диван.

— Ты очень устал, паппи?—говорит кукла ангельским голосом.—Наш номер имеет успех. Все-таки, чем бы мы жили, если бы поездом мне не отрезало половины?

— Это несчастье, правда, что с тобой случилось, Лизи, но что бы ты делала, если бы это не случилось? Служила бы в конторе,—много можно по нынешним временам заработать в конторе?

— Да, но, паппи...

— У каждого своя судьба, дитя мое, и ты была бы простой манекенщицей, если бы не случилось несчастья... Простой манекенщицей, за сорок тысяч марок в месяц, понимаешь ли ты... А теперь о тебе, слава Богу, пишут в газетах, теперь ты—чудо XX века, теперь тебе обеспечен твой заработок... И твой старый отец тоже не пропадет с голода.

— Да, но, паппи...

— А Бог знает, что было бы с тобой иначе... мало ли бесчестных негодяев, которые могут... У каждого своя судьба, дитя мое. Разве мы мало зарабатываем или не имеем успеха? Разве я не покупаю тебе каждый день шоколада, или у нас дома холодно? Слава Богу, мы не стесняемся топить, как другие, у нас мясо каждый день, и тебе не приходится стоять в очереди за картошкой. Это тоже что-нибудь значит, дитя мое.

— Да, паппи..., но я слыхала, что в Америке делают ноги совсем как настоящие... и ими можно двигать, и можно ходить... Может быть, мы получим ангажемент в Америку. Ведь такие номера не очень часты.

— Хороша ты будешь на искусственных ногах! Подумай только, хороша ты будешь на искусственных ногах! Как только тебе приделают ноги, кому ты станешь нужна? Мало ли калеков осталось после войны? Будешь, как они, продавать на улицах спички или петь проходящим. Нет, пусть лучше мои глаза не увидят этого. А твой бедный старый отец будет побираться, ты этого хочешь. Тебе мало славы, мало что в „Курьере“ написали третьего дня, что мы лучший номер программы. Что у нас предложение от Skala, от самого Skala..., а варьетэ... разве мы не везде будем лучшим номером в сезоне. Найди еще девушку, которой бы так высоко отрезало ноги и которая осталась бы жить, и у которой был бы такой же голос...

Лоско-бинтовые усы распушились, герр Лангшмидт был в гневе. Герр Лангшмидт, без фрака, с сизовой шейей, ходил по уборной.

— Над нами Господь, который бережет каждого из нас.—Он вытянул руку.—Верь в Господа, Лизи.

Он один может направить нас по правильному пути. Если Господь захотел так... ведь он просто мог выдать тебя замуж или сделал бы тебя манекенщицей в торговом доме... а Он отметил тебя. Он сделал тебя чудом XX века не для того, чтобы ты гневилась и осуждала Его.

И ангельский голос, который пел перед публикой в цирке и навел ей зыбкий сон,—ангельский голос, ответил из облака газа и тюля:

— Я благодарю Господа, паппи, я очень благодарна Господу... Разве такие номера часто бывают, или у американцев есть что-нибудь подобное?

Ангельский голос поет под куполом цирка, где некогда раздавали листки, где убили полицейского, brave унтер-офицера Шмидта из 16 дивизиона, где собирались и говорили пламенные речи лучшие патриоты, уважаемые бюргеры, старейшины города солидные домохозяева, депутаты Баварии...

П Р А З Д Н И К.

XVI. В праздничный день идут трамваи, как заводные игрушки. Асфальтовая пустыньность улиц голубовато лоснится, по асфальтовой пустыньности один за другим в отдалении идут не спеша трамваи; в трамваях праздничная публика, которой спешить некуда. В пачищенных башмаках, в цилиндрах, старички, как сигарный пепел, и в черных страусовых боа краснолицо, красноруко фрау Гертруда Шмидт, и фрау Мицци Беккер, и фрау Елизабет Лангшау... И в праздничный день высоко, мерно бьют на кирках колокола. В кирки идут прихожане, в кирках у пастора на черной груди белая ласточка галстуха, в кирках мелодически перекликаются трубы органа и низко текут сиропными торжественными голосами; над кирками стеганное небо, и на ступеньках кирки взблескивают снимаемые цилиндры, на ступеньках кирки улыбаются из боа прихожанки, для которых есть еще добрый Бог, прикрытый стеганным одеялом осенних облаков.

В двенадцать часов по асфальтовой пустыньности улиц идут неспеша прихожане — взлет цилиндра, взлет котелка.

— Доброе утро, герр Мейер.

— Доброе утро, герр Штиллер,

— Какова осень, что скажете?

— Осень не лучше лета. Можно подумать, что все дожди должны быть в Берлине.

— Как здоровье ффрау Мейер?

— Благодарю вас, маленькая простуда, но уже почти проходит.

Взлет цилиндра, взлет котелка.

В праздничный день гудит кладбищенский колокол,—в праздничный день в Лондоне, в Париже, в Берлине едут на кладбища. На кладбищах покойники прочно придавлены гранитом и мрамором и лежат в порядке. В праздничный день едут в Лондоне лэди в Гайд-парк, где лежат под белыми плитками несравненные Тоби и Мисси, те прелестные собачонки, которых унесли в иное царство несварение желудков, собачья чума и заворот кишек. В праздничный день везут лэди в Гайд-парк на могилы собачек, где на белых плитках: „Спи, дорогая Мисси. Если бы я знала, что в том мире мы встретимся, я бы последовала за тобой“,—в праздничный день везут лэди на могилы собачек цветы.

И в праздничный день идут ффрау Гертруда Шмидт и ффрау Амалия Винклер на могилы незабвенных бабушек. Бабушки лежат чинно, как чинно ходили по жизни в митенках и в черных соломенных шляпках-тарелочках. На могилах, подле белых и гранитовых досок, посидев, вынимают завернутые шрипены с колбасой, и вынимают шрипены на скамейках Тиргартена, и в поездах, везущих к пустынному стадиону, где с легким топотом проносятся лошади в скачках; и вынимают завернутые шрипены на сборных пунктах члены гимнастических обществ и члены певческих капелл и продолжают экскурсию с пением о великой

и непобедимой Германии (ибо будет Германия великой и непобедимою снова!). А в городе голубоватая пустыньность асфальта, и идут снова трамваи, как заводные игрушки, и в большой желтой ванне возят по городу иностранцев: роговые очки, кеппи,—от аллей Тиргартена до одинокого сумрачного Потсдама, где пустуют имперские дворцы в лоске паркета, колонн, блеске зеркал и бронзовых рам,—былом имперском великолепии.

И уже насыщается день синевой, отзвонили колокола киров, в сливной синеве гуляет толпа из конца в конец улиц, и взлетают в дымный надземный сумрак золотисто-жирные буквы... В пять, когда набухают кафе жиреющим золотом, в пять, когда громом литавр рассыпается в паласах джаз-банд, и уже жарко колышутся пары,—в пять устремляется толпа к золотым вывескам кинематографов, к гирляндам желтых шаров, где капелъдинеры в красных ливреях, ковровая тишина и двухтысячный полукруг перед фольгово-белым экраном, на котором возникнет из тьмы в африканском видении сказочное царство Атлантиды... В пять толпами жирно чернеют кафе, в пять везут из-за города поезда туристов, и вспыхивают желто, в базетовом пучении, желчные глаза моторов. Мотор за мотором в траурной цепи, толпа за толпой в поисках удовольствий, подле круглых лиловатых огней, подле матовых шаров варьетэ, где новая программа, где лучшие трюки, где...

В семь в теплых ковровых залах варьетэ ходят с лоточками на ремнях сладкоголосые гимназисточки в фартучках, в семь картавят карминногубо сладкоголосые гимназисточки в варьетэ:—Шоколад П'га-линэ,—в семь проходит перед занавесом с прелестной

улыбочкой красный камзолчик с очаровательным задом, с белым картоном: № 1,—в семь расходится занавес и...

Глядите, глядите! Платья торгового дома Адам и Сын, шляпы торгового дома Гиршфельд и К^о, обувь торгового дома Братья Винтерфельд.

Глядите, глядите! Вот по королевским ступеням, по широчайшим ступеням коврово-красным, по широчайшим ступеням сходят в мехах, в шелку, в парче, в бархате, в дымчато-шелковом либерти, в льющихся волнах шифона, розовея плечами, жемчужно розовея открытыми плечами, руками и шеями—сходят маленькие королевы, маленькие герцогини, маленькие лэди... Королевы, герцогини в шифоне, в парче, в фай-дешине, укутанные в целые куски материй, затерянные, как жемчужные раковины, в дымчатых легчайших облаках, обцелкнутые зменно, как перчаткой, шелком и бархатом, в легких обрывках, меж которыми в щелях тело, жемчужно-розовое нежнейшее тело. За маленькими герцогинями волочится трэн, спадая по ступеням; маленьким герцогиням помогают сойти два мускатных негра в синих ливреях, раздвинутых на круглых задах; маленькая ножка в сквозящем чулке, в лаковой туфельке,—не туфелька, а три лаковых перехвата, за которыми нога мясисто-шелковым плодом,—маленькая ножка касается чуть ступени под лучем, в котором льются стеклярус и шелк... Вот легкий треск, вот гудок. Маленькие королевы в дорожных костюмах, джентльмены в шофферских кожаных вылетают на сцену в моторе; джентельмен в свинных крагах помогает королеве сойти, и вот легкая ножка в закры-

том высоком ботинке ступает на подножку лакового коричневого автомобиля.

Глядите, глядите!.. Моды, моды, мир мод, чудеса мод, моды заливают вселенную, для мод — политика, войны, церковная проповедь — гимн моде. Лучшие шляпы торгового дома Крейслер и Сын... Меха, меха торгового дома Леопольд Майсель, меха, в которых шелково-котиково и серебристо-шеншилово слетают на лыжах на сцену со стеклянной горы те же пушисто-серые, морозно-алые герцогини, меховая перчатка до локтя, пушистый капор, шерстяные чулки джентельмена.

Глядите, глядите! Черная амазонка на белом коне, веселая кавалькада, настоящие лошади на сцене, воздетый котелок джентельмена в серых рейтузах... Моды, моды, для которых шумели войны, для которых десятки маленьких королей один только час, один только час во всем трудном дне, играют обворожительную роль, — маленькие манекенщицы, крохотные голодные королевы города... И толпа, осевшая полукругом, тысяче-руко воздевшая выпуклые стекла, толпа вздыхает одним вздохом:

— Колоссаль!

Маленькие королевы, маленькие герцогини снимают в уборной чудесную туфельку, маленькие герцогини снимают с плеч меха, маленькие лэди снимают шелка, шифон, парчу, — маленькие манекенщицы, розовопудрые хранительницы тайн по ту сторону сцены, выбегают в ковровое фойе, — легкий след гримма и блеск глаз недавней королевский игры...

Маленькая королева! о! маленькой королеве опасно возвращаться одной. — И глаз за моноклем, за моно-

клем недавнего лейтенанта, за моноклем солидного агента страхового общества „Дружество“ — страхование грузов, животных, людей, времена так опасны! — глаз линияло-сиренев, глаз общелкивает, как общелкивал час назад сиренево-вялый бархат, — маленьким королевам надо продолжить обворожительную игру прелестная ножка ступает на подножку мотора, маленькие королевы окунаются в тьму карет.

И те же джентльмены, или не те же, — защелкивают дверцы — и вот: несется город, несутся огни; для маленьких королей пение скрипок, для маленьких королей вино в ледяном ведре, для маленьких королев...

Маленькая королева говорит капризно в углу фойэ, маленькая королева топает ножкой и говорит в углу фойэ:

— Ты посмотрела на этого господина, Фрицци?

— Но, Лотти, я не могла смотреть на этого господина, я смотрела только на тебя.

— Ты начинаешь мне изменять, Фрицци. Я тебе надоела, Фрицци, ты хочешь меня бросить...

— О, Лотти, не говори так, Лотти, неужели ты думаешь, что мужчины могут меня интересовать...

— Ты говоришь правду, Фрицци? Ты не променяешь меня, разве я тебе плохая жена, или я мало о тебе забочусь?

— О, Лотти, мы будем всегда только вместе, ведь мы так любим друг-друга.

В одиннадцать расползается публика из стеклянных дверей, опять шуршит дождь об асфальт, опять лаково блестят крыши моторов.

— Колоссаль, — говорит бухгалтер Адольф Гауман жене, — какие моды! Нет, и подумать только, сколько на эти тряпки тратится денег! Можно было бы всю жизнь прожить на одни эти тряпки и позволять себе не только картошку. О, не только! У шиберов есть деньги, чтобы покупать эти тряпки своим потаскухам.

Адольф Гауман под руку с супругой идет в кафэ. Адольф Гауман снимает в кафэ пальто и шляпу.

— Одно темное. — говорит он, — одно темное.

— А даме нячего не угодно?

Пробор обера разделяет супругов.

— Одно темное, дама не хочет пить, — говорит Адольф Гауман.

Адольф Гауман пьет пиво, супруга Адольфа Гаумана сидит напротив и смотрит, как он пьет пиво.

— Нет, все-таки это была прехорошенькая каналья, та, в серой шляпке, — Адольф Гауман щелкает пальцами, — я бы ее... фью-фью, чорт возьми! Может-быть, ты все-таки хочешь выпить кружку? Канальи норовят наполовину дать пены. Пиво уже не для немцев, иностранцам дают целое пиво, чорт бы их побрал, а немцам половина пены... Кстати, доллар снова идет на понижение, расправа с негодяями у цирка показала, что Германия еще сильна... А наша Бавария, — о, наша Бавария стоит еще на страже, если что... А хорошенькая была шельма, я бы с ней... у! Отпей глоток, если хочешь.

Супруга Адольфа Гаумана сидит напротив и смотрит, как он пьет пиво. Он пьет одну кружку и другую, и третью. Он отдувается:

— Ф-фу...

— Может-быть, довольно, Адольф?—говорит супруга.

— Рюмку аллаша, — говорит Адольф Гауман, — герр обер, рюмку аллаша, только полную рюмку, как для иностранца, ха-ха!

Адольф Гауман выпивает двенадцать кружек пива, он выпивает пять рюмок аллаша.

— Ну, может-быть, теперь довольно, Адольф? — говорит жена.

Супруга Адольфа Гаумана ведет его домой.

— Хорошее дело, — говорит он, — хорошее дело, чтобы я тащился домой со старой коровой.

Супруга выравнивает его, как опытный капитан: он виляет, ныряет, ложится на борт, капитанская рука выравнивает его вперед носом.

— Со старой коровой... ф-фу. Я бы хотел лучше с той, в серой шляпке... я бы сй... ф-фу...

Вдруг Адольф Гауман прислоняется к дому, он дергается раз, другой, и начинает лаять... Опытная капитанская рука поддерживает его лоб, опытная рука не позволяет ему лечь в дрейф. Тротуар пахнет аллашем, тротуар пахнет...

— Восемьсот марок, — говорит жена, восемьсот марок на тротуар, собакам... Я экономлю, стою за картошкой в очереди, а он выблевывает восемьсот марок... Господи, Господи, Ты видишь! Восемьсот марок без чаевых на земле... Перестань блевать, придержи в себе, все-таки хоть немного пользы... Ах, старая свинья!

Фрау Гаусман надевает на него шляпу и ведет его дальше фарватером. Уличные девицы, как клопы, вылезли на все углы. Клопами усыпаны улицы, и сквозь клопиную гущу, бодрым шагом, с пением, возвращаются из загородной воскресной экскурсии члены христианского союза — одиннадцать женщин в чер-

ных соломенных шляпках-тарелочках с куриными перышками — и впереди них учитель в очках, со свернутым флагом союза на плече.

„Святой Христос призывает нас на спасение наших душ“ — стройно в клошиной гуще поют христианки и мерно шагают в четырехугольных башмаках. И уже возникает тот почной, тайный, запрещенный город, где пересвистываются на углах молодые помятые люди и везут иностранцев в моторе на пустынную улицу, где тоже легкие пересвисты, и вдруг из земли трое молодых людей в котелках и черная лестница в спящем доме, поливаемая тайным светом карманных фонариков, и сразу: свет, тепло, тихое журчание скрипок и пара голых женщин в том же колыпании жимми, болтая грудями, приникая округлыми животами — и в сладком тлене дешевых духов рыбная вонь немых тел, запахи коммандера — и журчание, журчание жимми, того же все жимми, под который засыпает и пробуждается город, вникая в сырые туманы осени.

КАРМИННЫЕ ГУБКИ.

XVII. Сырые туманы города плывут над готикой города, над крышами домов, над флагштоками, над триумфальными арками, оседая на крыльях Побед. Вверху — мрак, ветры и хаос атмосферы, перегоняющей тучи, полные балтийских и северных благ, к беспокойному Ламаншу, к берегам Немецкого моря. Внизу — свет огней, внизу зеленовато-стеклянный свет газа, внизу тшкетно взбухают электрические буквы реклам, пожираемые атмосферой. Внизу взлетают на уровень крыш, проносятся по мостам и свергаются в земную пучину суставчатые поезда подземной дороги. Внизу, под землей, в вагончике подземной дороги, как новобрачные — две маленькие королевы, две маленькие манекенщицы из варьетэ... Две маленькие манекенщицы в углу вагончика голубками, две маленькие манекенщицы слезают на Кни и поднимаются по крутой лестнице наверх, прямо в лилово-сизое ночное небо. Они идут спешно под руку, они вбегают в кафе, в длинное кафе, похожее на кегельбан. в облаках дыма, музыке и гуле голосов. И опять в дыму, в тумане, колышятся пары. Они пробираются между столов, в самый конец кегельбана, где сидят, раскпнувшись на диванчиках, в моноклях и в мужских пиджачках, коротко-остриженные, с тлеющей папи-

роской — те странные мужеподобные существа, которые носят мужские юбки и которые нежнее мужчин.

— Что заказать тебе, Лотти?

И карминные губки возле карминных губок, карминные губки, которые умеют так сладко жалить.

— Но, ведь, у тебя мало денег, Фрицци...

— Ах, не надо об этом, — карминная губка вскидывается по-мужски. — Шерри-коблер. Хочешь шерри-коблер, Лотти?

— Ах, ты так заботишься обо мне!

Маленькая ручка жмет маленькую ручку, и горячая коленка приникает к коленке.

— О, Фрицци!

Глаза, вокруг которых еще чуть остался гримм, глаза глядят снизу влюбленно в глаза, и маленькая ручка сжимает колено. Стриженная голова склоняется к плечу, и карминные губки проникают к карминным губкам; и карминные губки томят долгим голубиным поцелуем.

— О, Фрицци! У меня кружится голова.

И те мужеподобные существа в моноклях, — те тоже приникают к карминным губкам и кружатся, тесно прижавшись, нашептывая, в фокс-тrotте, сквозь дым и чадный туман. Карминные губки цедят через соломинку крепкий гранатовый шерри, и все пьяней губки, и легче туман, и ближе влажные темнеющие глаза, и крепче сжимает маленькая рука колено.

И к часу, когда тушится свет над входом и уже пустеют столы, приходят два иностранца, которые все должны видеть и всюду успеть побывать. У иностранцев крепкие подбородки, они курят пахучий табак — иностранцы, у которых есть валюта, не падающая каждый день, иностранцы, которые не должны пла-

тить репараций и покупать на чужую валюту свой собственный уголь... И бритые веселые губы ломают слова, и карминные губки перекликаются с ними.

— Отлично, говорят бритые губы, — нас двое и вас двое... Мы бы хотели провести вечер вместе.

— Вместе — да, — отвечают карминные губки, — а порознь — нет...

— Разве вы так неразлучны? — говорят бритые губы.

— Мы муж и жена, — отвечают карминные губки.

— Как... вы? — бритые губы приподняты весело.

— Да. Здесь в кафе — все мужья и жены, — карминные губки чуть блуждают от крепкого шерри.

— Но тогда, — говорят бритые губы, — тогда вы вместе... пусть вы вместе... мы бы хотели посмотреть, как вы вместе...

И карминные губки отвечают:

— Вместе — да.

Сквозь ночь две пары бритых губ следуют за двумя парами карминных губок. Карминные губки чуть пьяны — за шерри заплачено, заплачено за три шерри... Три шерри с висмутом.

Вдоль набережной дома серы и глухи, внизу идет в гранитных берегах тяжелая ночная вода. На домах спущены шторы, серые железные шторы, которые спадают со стуком, пугая прохожих. Карминные губки стучат в железную штору, и вдруг — в черный провал стены вникают все четверо, — серы дома вдоль набережной, пустыня набережная. Здесь за дубовой конторкой стоит почтенная фрау Грюнвальд, и смотрит строго в очки. У фрау Грюнвальд на стенах картинки христианского содержания, у фрау Грюнвальд не какие-

нибудь комнаты для встреч, у нее солидная гости-ница для приезжающих. У фрау Грюнвальд снежно-белые манжетки и Бисмарк в медальон-брошке. У нее портрет Гинденбурга, и портрет кронпринца в штатском костюме и портрет Людендорфа, — фрау Грюнвальд патриотка и добрая христианка, фрау Грюнвальд помнит вождей великой Германии.

— Вы мужья с женами, — говорит она иностранцам. — Вы — мужья с женами, потому что иначе я не пустила бы вас в свой отель. Прошу деньги вперед и расписаться в книге. И я надеюсь, что все вы христиане, потому что евреев в отель я не пускаю.

И бритые иностранцы поднимаются вслед за карминными губками в тот большой номер, где все уже готово, раскинута перинно четырехаршинная постель, в кувшинах вода и даже белес под краем перины ручка ночного прибора.

— Да, — говорит Фрицци, — мы за все это денег не берем, потому что тут не за что брать денег... Но жизнь так трудна... — И вдруг темные глазки глядят на миг так туманно, мучительно — грустно... — Жизнь так трудна... посмотрите, каверкотовое платье, самое простое, стоит сорок пять тысяч... а где взять такие деньги? И все дорожает, чулки три тысячи, перчатки... Пам каждой — по три тысячи... мы просим вас каждой одолжить по три тысячи... и затем на извозчика, мы живем так далеко...

И бритые губы, бритые губы, которые вдруг сомкнулись в зверином прищуре, — тогда бритые губы видят: как принимают к карминным губкам карминные губки, и все тяжелей пылающая голова, вот уже ниже, откинута на подушке, и тихий стон, и белизна

двух ножек, двух прелестнейших ножек, попиравших по-королевски королевскую лестницу в варьете, — и стenanье, и недряные поцелуи, и...

В три пустынна набережная, черная тяжелая вода канала уносится медленно, в три слышны ветры, пере-кликание ветров на площадях, под мостами, рвущих фиолетовое пламя под судками с ночными сосисками. В три макают на углу в горчицу кончики горячих сосисек две маленькие королевы.

— Теперь домой, Лотти... завтра так рано вставать. У нас за опоздание на службу вычит из жалования. А утром так хочется спать! Сколько ты уже накопила денег?

— С сегодняшними сто тридцать пять...

— Если бы не расход на каверкотовое платье, у меня было бы уже свыше двухсот. Позволь мне, Лотти, взять извозчика. Я провожу тебя, Лотти...

Ночью слышны ветры, ночью фиолетовым пламенем вспыхивают углы, — утром уползают клопы, утром счищают, взбивают ночную перину города, — утро возвещают скитальческие крики паровозов, уже вникающих, несущихся в день.

ВЕРХОМ НА ОСИ.

XVIII. Невтонов под стеклянной крышей, в стекле реторт, колб, перегонных трубок — сам застеклился. Его застекленного вел через ³ стеклянный полдень, расплывшийся в громадных тихих окнах, стеклянный человек, неподвижный, как реторта. У человека были стеклянные бутылочно-зеленоватые глаза, белый балахон с костяными пуговицами, выбритый четырехугольный подбородок. В стеклянных ретортах застыл газ зеленовато-синий; в стеклянных ретортах стыли растворы, перегоняя испарения через трубки, — в стеклянных ретортах были формулы, над которыми сидели люди в белых халатах годы войн, революций, восстаний, оседывая ось вселенной, в цепи формул была замкнута волевая энергия людей, из'еденных формулами, как древесным червем.

В цепи формул возникали новые краски сверх семи цветов спектра, краски, не отпечатляемые сетчатой оболочкой человеческого глаза; в цепи формул возникал газ, которым пять лет войны отравляли противника и который усовершенствовали теперь до силы испепеления и сведения с ума. Таблицы формул перематывались на провода ² телефонов-станций на столе делового человека, раскатывались в тяжелой поступи шестицилиндровых новейших паровозов, обрывались

в пространстве, смыкая на тысячи верст два приемника беспроводного телефона, взметывались в атмосферу, разрушая старые теории о неподвижности и доказывая новую, что все относительно в мире, и что формулы исчислений планет так же непостоянны, как непостоянно постоянство планет. Формулы раскалялись до х-лучей, раз'едающих обстающую плотность, и обрывались на недожденной черте исчислений, где теплился вечный огонь теплового луча, на той последней черте, за которой был конец войны: тепловой луч взрывал снаряды и порох, тепловой луч разрушал все то, без чего войны станут немыслимы, — а все сто, двести, тысяча ученых, запутанных живыми цепями формул, — все работали на усовершенствование войны, на б'ольшую ядовитость газа, которым можно губить противника, над составами новых веществ чудовищной взрывчатой силы, на устройство летательных новых машин, которые несли бы в себе угрозу воздушного крейсера.

И стеклянноглазый человек вел застекляневшего Невтонова через стекляннo-хрусткие залы и лаборатории, где пахло родными запахами соединений, мимо треножников, на которых горел жертвенный вечный огонь под сизо-лиловой ретортой; мимо спиралей, отмечавших легчайшее колебание земли, и кусков горной породы, которую раз'единял и соединял человеческий гений, готовясь создать новую последнюю формулу, когда силой огня и соединений можно будет создавать новое золото, не трудясь над его добытием в недрах земли. Золотник за золотником, за песчинкой песчинку, размывая первозданное таинство холодными цепями формул, человеческий гений, отнимал у Вселенной непознанную тайну строения, обна-

жая скелет апокалипсического чудовища, обогащая мир из найденных откровений не только благами, но и новыми жестокостями, создавая новые войны, как вечную энергию для движения застывающего мира.

Под стеклянно-молочной крышей, в лабораториях сидели на оси Мира люди, как стеклянные реторты, наполненные гремучим газом новых формул, неподвижные, как треножники, на которых синим пламенем горел вечный огонь не только плавящий, но и соединяющий...

И Невтонов проходил: из одной залы в другую, где было тепло и все было пригнано, и новые десятки молодых людей в белых халатах готовились стать учеными, чтобы опутать мир цепями найденных формул, — а в русских лабораториях три года лопались от мороза реторты, и сотни молодых людей сидели в полушубках и шапках, и бегали с лекций разгружать вагоны с дровами, чтобы иметь по одной книжке на пятерых: изучать формулы... И ни у кого не было белых халатов и выбритых подбородков, а были куртки, и полушубки, и валенки, и щетина на впалых щеках.

Здесь, в стеклянно-плавком полдне, была тишина, здесь как бы жидким газом возникала в ретортах и колбах человеческая воля, несясь по стеклянным артериям в мир, чтобы обогатить его неслыханными откровениями, вырванными из его пасти, стиснутой в изначальной судороге рождения.

Здесь был Невтонов один день, стеклянноглазый человек вводил его в мир, познанный за пять лет войны, русских усобиц и голода, разбитых дорог, разрушенных городов, уже возникавших в суровой средневековой стройке внове. И был другой полдень, в ко-

торый проходил Невтонов через стеклянные залы серо-каменной стройки, в залах был сухой запах гербариев, были препараты, мельчайшие стекла препаратов, приближенных микроскопами, и гигантские препараты, закостеневшие в спирту, высушенные как мумии, — были животные и невидимые изначальные клетки, — залы, где изучали биологическое существо мира, людей и животных; залы, где улучшали и скрещивали породы, влияли на пол потомства, пересаживали ткани, органы, целые головы, омолаживали на десятилетия.

И человек, который вел его за собой, был тоже человек улучшенной породы, у него была светлая ровная борода, розовый рот, нежно-розовый цвет кожи и белые зубы, розовая шея от хорошего питания, и халат был белоснежным, как первый русский снег, — это был человек улучшенной германской породы.

И, как накануне в стеклянноплавких залах измышляли новые чудеса для убийства и калечения человека, — так здесь измышляли, как оздоровить и улучшить породу человека, как ее омолаживать и влиять на пол, как пересаживать ткань здоровую на место ткани больной, и даже целые органы, и даже головы одних существ на место других. Розовый человек улучшенной германской породы показал Невтонову крыс, которые только месяц назад облезали и чахли от старости, а теперь были омоложены, покрылись ровным рыжеватым мехом, были проворны, драчливы и производили потомство; он видел, как обхаживала самца крысиная самка и была настойчива и предпримчива, как самец, ибо самке привили крохотную клетку самца. Были породы морских свинок, улучшен-

ные от удачного скрещения, и вырождающиеся, зобастые от скрещения неудачного; были обезьяны, чахлые и слезоглазые от привитого сифилиса, и были морские жучки, которые делали стежки в зеленоватой воде аквариума, словно не им пересадили их головы: самкам рогатые головы самцов и самцам — крутые головы самок.

Здесь, в залах, пахнущих сухими гербариями, расчленили и дополняли, изменяли и совершенствовали жалкую биологическую породу существ, ограниченных жизненным сроком, хрупких, как стекло, в бурях инфекций, простуд и калеченья. Были старички, имевшие силу жизнерадостных юношей, и старухи, плодившие детей, были найдены и разгаданы микробы гнуснейших болезней и придумана борьба с ними,—а в России три года лежали на станциях штабелями дров тифозные, и люди не выращивались в теплицах, как нежные абрикосы, а были под стужами, в неотапливаемых зданиях, в окопах, засадах, как звери, и обрастали люди на стуже новой звериной шерстью, как омоложенные крысы, и новые обретали на стужах упорство и силу,—и были на стужах новые люди улучшенной славянской породы, как был улучшенной германской породы голубоглазый, розовощекий человек, ведший Ньютона за собой.

Вечером, в комнате пансиона Stella, заваленной пачками свежих книг, которые привез в красной велосипедной каретке синеглазый улучшенный мальчик из книжного магазина, Невтонов копошился, Невтонов нюхал книги—прочную типографскую краску обложек, он смотрел бумагу на свет, щупал ее между пальцев, он хихикал и протирал очки, запотевшие от его волнения. Книги были новые, прочные, хорошо сшитые,

с меловыми рисунками, в толстых обложках, печать была ровная, не сбитая, — он, наконец, копошился в сокровищах, которые повезет в русские библиотеки, где деревянные пальцы будут их бережливо листать, а трудные, пытливые глаза одолевать строчку за строчкой,—в Россию, где лежали три года на станциях штабеля человеческих трупов, а теперь лежат штабеля свежих дров, летящие к вышкам кипучих засаленных паровозов.

ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ.

ХІХ. Консорциум банков получил три телеграммы. Телеграммы были деловые, из России: только цены, справки о ценах... Представитель консорциума нажимал батарейки цветных кнопок на своем американском столе в стеклянном кабинете. На нажатие кнопок срывались и неслись по коридорам молодые люди с проборами, с розовыми подбородками, в стоячих воротничках. Молодые люди шелкали на счетах, сидели за grossбухами, говорили в телефоны,—молодые люди песлись коридорами с папками и стояли возле дверей кабинета, как гончие на стойке, вывернув к матовым стеклянным дверям одно ухо. И только лишь кричал из-за дверей скрипучий знакомый голос, как заглатывались мгновенно матовыми дверьми и застывали подле стола, белея затылками—на уровне белого затылка, распиленного пополам стремительною струею пробора.

Представитель нажимал кнопки, представитель кричал в разные трубки телефона:

— Allo... Allo... экстренное совещание!

Молодые люди подготавливали к экстренному совещанию бумаги, сметы, доклады,—экстренное совещание должно было решить, что же ответить Прокопову, экстренное совещание должно было решить, как вместо

льна и пеньки получить концессии и пушнину и какие установить новые цены на предметы обмена; экстренное совещание должно было предложить фабрикантам повысить цены на фабрикаты, противопоставить требованиям рабочих о сокращении рабочего дня требование правительству о призыве всех рабочих работать на восстановление страны без повышения заработной платы, экстренное совещание должно было...

Экстренное совещание собиралось в стеклянной зале, на экстренное совещание под`езжали в моторах к серо-колонному зданию банка директора банков, докуривая огрызки сигар. Мимо серо - колонного здания в узкой улочке старого Берлина струились толпы, растекался в мрачные коридоры пассажа с запыленным старым паноптикумом, обходи груды камня, песка и цемента, сваленные вдоль деревянных колодцев стройки, в которых прокладывали новую ветку подземной железной дороги. Здание банка было в лесах, ибо обновляли серо-колонный фасад, леса обтянуты были сине-желтым забором; в узких улочках тесно, один к другому, жались свежеччищенные витрины магазинов, засыпанные товарами, в узких улочках бежали молодые люди в зеленых и коричневых шляпах и девицы с ридикюльчиками. В магазинах, за свежеччищенными стеклами, сучали у прилавков девицы, одетые по последней моде, в шелковых серых чулках, и сучали молодые люди в тугих воротничках, затянутые в элегантные визитки и пиджаки в талию.

Молодые люди и девицы обязаны были одеваться по последней моде, потому что в солидном деле должны быть только элегантные продавцы, чтобы поднимать вес и достоинство фирмы. В час дня моло-

дые люди и девицы вынимали из карманов пальто завернутые в бумагу шрипенны, намазанные жидкою сливой или усталанные тончайшею пленкою колбасы,— в час дня ели за прилавками шрипенны и запивали желудевым кофе. И в гастрономических магазинах, в свеже-прочищенных витринах которых лежали лоснящиеся колбасы и свиные туши в круглых лиловых печатях,— в гастрономических магазинах стояли молодые люди и девицы, и краснолицые старушонки в боа и покупали по четверти фунта колбасных пленок или янтарного маргарина, потому что одни иностранцы покупают сразу по фунту лучшего, настоящего масла... И для иностранцев открыты все эти бары, в которых лучшие аперитивы, каких нет даже в Америке, для иностранцев отели, выстланные коврами, и международные вагоны экспрессов,— а для тех, у кого нет валюты, но есть зато репарации,— для них третьи классы вагонов, и очередь за картошкой на рынке, и для них пленчато улыбается колбаса на сером шрипенне по карточкам.

В час на экстренном заседании в стеклянно-серой зале, где раскинулся зеленый стол заседаний географическим очерком, и где висели еще в смуглых рамках портреты Вильгельма и кронпринца, — ровно в час представитель консорциума огласил директорам банков три телеграммы из России... Телеграммы были о ценах, только цифры и цены, но цифры слагались в необычайную систему слагаемых, из которых взлетало три сообщения: одно сообщение о концессиях, взятых американцами, другое о том, что выходят на-днях из ремонта три ледокола, и что экспорт в Россию... Директора банков с распушенными усами, с пламенеющими затылками, взлетали над гео-

графическим очерком стола. Директор банка, представлявшего химическую промышленность, доказывал: необходимость вывоза красок, обмена на краски льна и щетины; директор банка, представлявшего объединение металлургических заводов, доказывал: надо кинуть в Россию в обмен на лен, пеньку и щетину— бритвы и утварь; директор банка, представлявшего синдикат консервных заводов, доказывал: надо кинуть в Россию партии рыбных консервов, тысячи банок рыбных консервов.

Директора банков доказывали, что если опоздает Германия, то поспеет Америка, которая всюду поспевает раньше всех; и что если поспеть, то Франция все потеряет, потому что придет с опозданием... Директора банков призывали немедленно завязывать сношения, только торговые сношения с Россией, но не надо пускать русских в Германию, потому что они сеют заразу... и что надо немедленно послать в Россию торговую экспедицию, потому что все хотят льна и пеньки, хочет их не меньше Америка, а если еще устроить обмен на пушнину, на сибирскую превосходную пушнину...

Директора банков дожевывали огрызки сигар, директора банков садились в моторы и раз'езжались по своим банкам, серо-каменным банкам, огромные окна которых наполовину завешаны занавесками и за которыми за конторками, бюро и столами сидят белопроборые молодые люди, у которых душа и жены, и и даже дети превратились в один только кредит и дебет, и такие же молодые белопроборые люди сидят в Лондоне в Сити, и сидят в Нью-Йорке в тридцатипятиэтажных домах, и сидят в Чили, и в Аргентине, и в Гонолулу, потому что есть разные народы и нации,

но есть единые для всех кредит и дебет, и двойная итальянская бухгалтерия, и счета on-colle, и биржевая игра, и в меняльных конторах — во всех меняльных конторах, раскинутых на перекрестках стеклянными светящимися павильонами, — везде висят в окнах тонко-пергаментные фунты, и зеленые доллары с Колумбом, вступающим на новую землю и старым Линкольном, и итальянские лиры, и пестрые австрийские кроны, и польские марки, и даже деньги Рио-де-Жанейро, ибо если говорят люди на разных языках, то есть зато один у всех наций язык — меняльные конторы...

И Прокопова, которого как сильного, упрямого зверя, несло под, над и по улицам города, который все хотел видеть и знать, ибо лоб у него был упрямый, крестьянский, и крестьянские были крепкие белые волосы, и был он из слесаря директором завода, — Прокопова в этот день тоже принесло в серо-каменное здание банка, где сидел представитель консорциума и просматривал биржевой бюллетень. У Прокопова были уже набиты карманы телеграммами из России и телеграммами из Лондона, куда вызывал его лондонский консорциум банков и обещал большой кредит и лучшие товары. У Прокопова была уже на паспорте английская виза на въезд, и лежал в кармане билет на экспресс Берлин — Париж — Лондон, — его легко взносил лифт на третий этаж к самому стеклянному кабинету, где стояли, поджав одну ногу и вывернув ухо, молодые люди, как гончие на стойке...

— Консорциум принимает ваше предложение и соглашается на кредит, — сказал Прокопову представитель. — Мы можем предложить вам фабрикаты хими-

ческой промышленности для трикотажных и чулочных фабрик...

— Мне нужны машины и тракторы.

— Современное положение наших машинных заводов не позволяет такой широкий кредит.—Представитель раскрылся на-двое тесемкой пробора.—Мы можем предложить рыбные консервы...

И Прокопов упрямым крестьянским лбом боднул воздух:

— Мне нужны машины и тракторы.

— Сахарин, посуда, бритвы...

— Машины и тракторы.

— Стекло и керамику...

— Машины и тракторы, и кредит...

— Рассрочка—да, но—кредит...

— Телеграмма из Лондона, две телеграммы из Лондона: мне предлагают кредит, машины и тракторы.

— Английские банки!—Представителя вдруг взметнуло на летучих пружинах кресла.—Английские банки пообещают кредит, но вам дадут машины устарелых систем, негодный хлам... Они уступают германским в прочности. Какие гарантии кредита? Я должен испросить дополнительное разрешение банков.

И Прокопов ответил упрямо, как упрямо пускал в ход свой завод, где работал подручным и слесарем, где знал песнь фрезеров, как колыбельную, где стал директором из подмастерья, — Прокопов ответил упрямо:

— Завтра в девять я уезжаю в Лондон. Если до трех я не получу согласия, я заключу соглашение с лондонскими банками.

Слесаря Прокопова в мягкость пространства легко сносил лифт, ответ слесаря Прокопова передавали под-

земные провода в банки, ответ слесаря Прокопова слушали в збонитовые трубки директора банков, дожевывая новые огрызки сигар... Директора берлинских банков сносились по телефонам, директора лондонских банков посылали по подводному кабелю новую телеграмму Прокопову, — кабель лежал под Ламаншем, уже седокурчавым по осеннему. Над Лондоном была лихорадка осени, в Лондоне рдел кокс в каминах, в Лондоне тянулись в тумане цепями моторы, огибая каменноруких бобби, — в Лондон в девять часов вечера на другой день увозил Прокопова экспресс, окутанный дымом, экспресс, в котором ехал джентельмэн со сломанным носом, тот самый, что сехал с ним вместе от Риги до Каунас.

Экспресс стоял у вокзала пять минут, заглотнул англичан с желтыми плоскими чемоданами, французов в серых пальто в талию, входивших в него, как в кафе, Прокопова в новой кепке, — экспресс, пропахнувший духами и сигарами, красно-ковровый, с поднятыми уже на ночь белоснежными спинками диванов, с золотисто-потными стеклами вагона-ресторана, в котором два *pikколо* накрывали столы крахмаленными скатертями и стоячими салфетками и расставляли вазочки с живыми непахнущими цветами.

И еще через час, когда несло уже экспресс по дороге в бельгийскую тьму, навстречу сырому дыханию оксана, сидели в вагоне-ресторане англичане, дымя сладким табаком и отпивая аперитивы, которые разносили в рюмочках *pikколо*, и пил аперитивы красный директор завода и слесарь Прокопов, который все должен был знать и испробовать, ибо имел упрямый крестьянский лоб, и в кармане которого лежало согласие лондонских банков и согласие банков бер-

линских, и теперь ехал он в Лондон, чтобы показать согласие берлинских банков, чтобы сбавили лондонские и увеличили кредит, и чтобы заплатить подешевле, а получить побольше, потому что в России лен и пенька, и пушнина, и не только голод, а тысячи верст полей, рыбные промыслы, рудники и золотосодержащие жилы, как в Аляске и Калифорнии, и потому что Россия—страна для романов Жюль-Верна, Брет-Гарта и Буссенара.

КНЯЗЬ ИЗЪЕДИНОВ И ГУСЬ.

XX. Альфред Шенфельд стоял на углу. Альфред Шенфельд видел, как за стеклянным, свежеч-прочищенным стеклом маленькие ручки, такие знакомые маленькие ручки, от которых пахло апельсином, перебирали марки сине-зеленые и оранжевые марки с рощами бананов и набобами в чалмах.

Теперь, каждый день в два часа, уже не спешил Альфред Шенфельд обедать, а доставал из кармана пальто два шрипена с сыром и доедал на ходу по дороге к свежеч-прочищенным стеклам, к тем самым стеклам, за которыми встанет он через год, как полноправный хозяин, а пока... пока лысый боб князя Изъединова, который после всех войн и поражений правительств юга и севера, аннулированных денег южных и северных, открыл свою лавочку марок, которых никто не аннулирует, а если и аннулирует, то они вырастут только в цене; а пока—ручки пахущие апельсинами, ручки, которые могут только мелькать и мелькать, ручки, которые...

Альфред Шенфельд, доедая на ходу бутерброд, бежал через тихую Виктория-Луиза-плац, где днем на скверике играют дети, а ночью горит красный фонарь и целуются парочки. Альфред Шенфельд спешил, потому что от двух до трех шла Бетти с кня-

зем обедать в маленький, тихий ресторан; и он следовал за ними в ресторан, он садился за столик и пил безразсудно каждый день пиво, закрывался газетой, и видел, как лысый боб склоняется к маленьким ручкам, и как маленькие ручки нарезают ему шницель по-венски и ссыпают с тарелочки сахар в горячую чашку кофе, — все это он видел, и он платил сумасшедшие деньги за пиво, за которое брали здесь втрое дороже. И только взблеск синих глаз, взблеск синих глаз, как трепетанье двух крыльев бабочки, — взблеск синих глаз проникал за газету, проникал сквозь де-цет, через хронику происшествий и цены на бирже, через статью о новых экономических совещаниях и через статью о новых репарационных вопросах, — взблеск синих глаз проникал, говорил: что говорил взблеск синих глаз, мотыльковый трепет двух крыльев?

„Терпение, только терпение. Уже двести тысяч марок положены на имя Бетти Дрешер, двести тысяч новеньких марок. Уже есть у Бетти Дрешер пять новых платьев, из которых только три в носке, а два лежат и ждут. И есть новое белье, из которого три гарнитура тоже лежат нетронутые и тоже ждут, и есть восемнадцать пар новых чулок, из которых полдюжины шелковых, и полдюжины лежит новых фильдекосовых, совершенно новых, и ждут. Бетти Дрешер тоже копит. Бетти Дрешер отказывает себе во всем, она ходит пешком, когда нужно поехать по делу, у нее есть уже, помимо двухсот тысяч, еще семьдесят пять тысяч, которые она с'экономила. У них будут, — о, у них будут лучшие кровати с литыми шпиками и звонкими матрацами, у них будет ковер, и в их гнездышке будет так тепло

и уютно, как ни у кого. По правде говоря, надо бы было начать копить уж материи, материи, из которых выходят такие крошечные рубашечки, такие крошечные чепчики... Их первый малютка — пусть будет мальчик, тоже Альфред, но маленький, а вторая малютка — маленькая Ани, и третья... ах, надо много иметь малюток, надо много иметь мальчиков, потому что Германия столько потеряла на войне. Раньше за пять мальчиков кряду приезжал благодарить сам кайзер, а теперь... разве не может теперь приехать сам кронпринц, если сам кронпринц придет благодарить за пять мальчиков, за пять славных, розовых, розовых мальчиков“...

Вот что говорит голубой взблеск двух мотыльковых крылышек, и вот ради чего он, Альфред Шенфельд, бежит сюда каждый день и платит сумасшедшие деньги за пиво.

И раз, когда стоит Альфред Шенфельд на углу и смотрит, как за свежеччищенным стеклом две маленькие ручки перебирают зеленые марки, — маленькая ручка вспархивает вдруг вдоль стекла и машет ему, маленькая ручка зовет его перейти через улицу, маленькая ручка призывает его зайти в магазин. И Альфред Шенфельд тупо идет к стеклянной двери, он поворачивает бронзовую ручку и входит в магазин.

В магазине смуглый боб князя над марками, в магазине два голубых крыла вспархивают ему навстречу.

— А, это ты, Альфред, — говорит она каким-то упруго-резиновым голосом. — Наконец-то ты зашел... Герр Из'единов, это Альфред Шенфельд, мой двоюродный брат, познакомьтесь с моим двоюродным братом Альфредом Шенфельдом.

И Альфред Шенфельд пожимает руку князя, преемником которого он будет через год, он снимает котелок и пожимает с уважением его руку, похожую на сушеную грушу, потому что, если бы не эта рука, разве могли бы они рассчитывать через год повенчаться, разве могли бы они...

— Это мой кузен Альфред,—говорит Бетти. — Где же ты пропадал столько времени? Как мамми и паппи будут тебе рады! Герр Из'единов, Альфред знает немного бухгалтерию, он сможет иногда помогать нам.

И в вскинутом круглом монокле защемлен выцветший глаз князя Из'единова, в круглый монокль глядит синенький глаз, без которого не могло бы случиться их счастье.

— Очень приятно, молодой человек.

Он так и сказал голосом, похожим на сушеную грушу,—он сказал:

— Очень приятно, молодой человек.

И втроем—все трое под руку, ибо чувствует Альфред на сгибе локтя маленькие пальцы Бетти,—втроем отправляются они обедать. О, теперь уже не надо сидеть поодаль, закрывшись газетой, теперь маленькая ножка касается поочередно то острого поска княжеской туфли, то начищенного башмака Альфреда Шенфельда; теперь он, Альфред Шенфельд, может любовно разглядывать лицо человека, от которого зависит их счастье. Теперь Бетти говорит тем глубоким чистым голосом, каким говорят все женщины, обманывающие своих мужей и любовников, — теперь Бетти говорит:

— Ты должен часто бывать у нас, Альфред, ты должен заходить каждый день; иногда ты поможешь

мне в бухгалтерии, неправда ли? И это воскресенье ты проведешь вместе с нами, неправда ли, герр Из'единов, он должен провести воскресенье вместе с нами...

О, он ответил, их друг и наставник, он так и ответил:

— Конечно, — он так и ответил этим маленьким словом, полновесным, как доллар: — конечно.

И опять, как пчела на цветок, лгнула на миг маленькая ножка в сером чулке то к туфлям, то к башмаку, и маленький мизинчик сбрасывал со скатерти крошки, маленький мизинчик, сладкий, как леденец.

В это воскресенье Альфред Шенфельд надел лучший галстук с муаровым разводом, он считал мокрой ваткой свой воротничек монополь, он пробрил до розово-красного свой подбородок, он притер розоватый пробор, он вымылся душистым мылом, пахнущим не хуже парижских духов. Альфред Шенфельд в двенадцать вышел из дома, он шел воскресными улицами не спеша и с достоинством, как с достоинством шли все в новых галстуках и в начищенных башмаках; он купил на углу у газетчицы свежий номер газеты и читал его, держа перед собою и идя напрямик, как шли напрямик и читали все солидные люди, не сторонясь и животом толкая рассеянных. Он зашел в цветочный магазин, — он, Альфред Шенфельд, зашел в цветочный магазин и выбрал две вянувших астры, которым надо только подстричь ржавые кончики и сырыснуть водой...

И Альфред Шенфельд с цветами в папиросной бумаге шел дальше, как многие шли с цветами в папиросной бумаге, многие почтенные и уважаемые люди. Он взшел в подъезд прекрасного дома, где

даже лежала дорожка вдоль лестницы, и поднялся на третий этаж. Нельзя сказать, чтобы сердце его билось очень спокойно, он все-таки был взволнован, ему было даже немножко жаль князя, который собирался устроить его, Альфреда Шенфельда, счастье, — ему было жаль князя, что его обманывают.

И он вошел в ту прекрасную комнату, где пахло сигарой и стояла прекрасная двухместная постель, точно такая же, какую он собирался купить, с литыми шишками, — и под постелью, о, под постелью, носками врозь, две маленькие туфельки, крохотные, как скорлупки, две маленькие туфельки рядом с двумя теплыми полосатыми лодками.

Но князь шел уже навстречу, князь шел, как гостеприимный хозяин, навстречу, князь предложил ему глубокое кресло и настоящую гаваннеру в золотой деревянной коробке, — князь был так радушен и синий глаз за моноклем смотрел на него, Альфреда Шенфельда, как на равного, так равно смотрел, что ему, Альфреду Шенфельду, стала даже неприятна та упруго-резиновая игра в голосе Бетти, которая сказала ему и скользнула горячей ладонью в его просторную ладонь:

— Как это мило с твоей стороны, Альфред. Какие прекрасные цветы!..

И он даже не пожал как следует горячую ладонь, он говорил положительно с князем о положительных вещах, он говорил, как солидный коммерсант, а не как служащий торгового дома Кремниц и сын, — и оба они курили толстые превосходные сигары и пускали колечками синий дым. И он видел еще, как искали беспокойно его глаза голубенькие глазки, нежные, как фиалки, — он, Альфред Шенфельд, он чув-

ствовав уже в себе круговую мужскую поруку против обманывающих женщин, он сочувствовал князю, потому что становился его преемником, потому что он, князь, оплачивал все, что получал, и собирался оплатить еще больше. И за обедом, за которым был настоящий поммерский гусь и даже бледно-янтарный мозельвейн, он позволял равнодушно легкой бабочке в лаковой туфельке касаться его ноги.

— Ты так мало ешь, Альфред, — говорила этим глубоким, играющим голосом Бетти, — с'ешь, пожалуйста, еще кусок гуся.

И он отвечал учтиво:

— Благодарю, от гуся я не отказываюсь, — а глаза смотрели мимо, глаза, которых так огорченно и умоляюще искали синие глазки, похожие на фиалки.

Они трое с'ели по два куска гуся, и ели компот; они сидели с князем вдвоем в креслах после обеда и заглушали сигарой отрыжку, и Альфред Шенфельд видел, как рука князя коснулась коленки Бетти, маленькой, теплой коленки, — но разве князь не все оплатил: и гуся, и отличную сигару, и коленку.

Князь был радушен, он предлагал вечером всем троиm пойти в варьетэ, и он собирался за всех заплатить, как американец. Но поммерский гусь! Эти поммерские гуси так жирны, они слишком жирны даже для молодого желудка, — недаром у князя началась эта изжога. Князь принимал соду и ходил, князь давил себе под ложечкой, но ведь старый желудок не молодой желудок, а поммерские гуси так жирны. Гусь был беспокоен, как ребенок во чреве, он подкапывал кверху и распирал, и князю надо было лечь уже на диван, он стонал и растирал желудок, у него двигались от муки во рту три вставных зуба...

А Бетти. О, эти женщины! Они умеют только сокрушаться, когда нужно действовать. Разве помогут горячие бутылки, когда нужны решительные меры, радикальные меры, иначе князь будет мучиться до вечера, если не до утра. Он, от которого зависит их счастье, который платит за всё, как американец,—он будет мучиться от гуся, как простой извозчик. И Альфред Шенфельд стал во весь рост, он холодно посмотрел на прильнувшие к его глазам два синих крылышка бабочки, — он холодно сказал в синие крылышки:

— Кружку... Кружку Эсмарха! У тебя есть кружка Эсмарха?

Он говорил и действовал, как мужчина, и Бетти смотрела на него восхищено. Он засучил рукава, и Бетти глядела на его сильные руки, которые скоро будут обнимать ее,—на его сильные руки, чуть поросшие светлыми волосками.

— О, Альфред, — сказала она, когда князь вышел поспешно, — о, Альфред! — и хотя голос ее был как гортанный стон птицы,—Альфред Шенфельд ответил. Он ответил твердо, как настоящий унтер-офицер 9-го дивизиона, а не служащий торгового дома Кремниц и Сын,—он ответил:

— Милая Бетти, человек имеет право на то, что он оплатил. Через полгода, если он не исполнит своего обещания, мы можем нарушить условие.

И два голубеньких крылышка взлетели к самым его глазам.

— Но, Альфред, а разве... а разве, — сказала она, — бумажка эта ничего не стоит? Ведь это лучше всех обещаний, когда есть вперед такая бумажка...

И он увидел: он увидел то, что видел до сих пор только в окнах меняльных контор,—он увидел бумажку, ломкую сквозную бумажку, с черным пятнышком в левом углу, с шестью всего буквами, которые слагались волшебю в двадцать английских фунтов, в настоящие 20 английских фунтов, которые только растут, когда падает марка.

— Бетти!—он сказал:—Бетти, это наши двадцать фунтов? Вперед двадцать фунтов,—и хотя были близки синие крылышки и маленький горячий ротик тянулся к его губам, он поцеловал только лобик, он приподнял светлую прядку и поцеловал только лобик, потому что он, Альфред Шенфельд, служил в шляпном отделении торгового дома Кремниц и Сын, где учили, что покупатель — друг дела, и что упустить одного покупателя или быть к нему невнимательным — это упустить двадцать пять покупателей, потому что у одного обиженного покупателя есть двадцать пять знакомых, которым расскажет он, как плохо обращаются с покупателями в торговом доме Кремниц и Сын.

Альфред Шенфельд поцеловал ее в лобик и сел в кресло: он докуривал прекрасную сигару.

— Этот человек не хуже любого американца,—сказал он,—с таким человеком приятно иметь дело. Он пускал синий дымок.—У него должна быть хорошая клиентура. — И он сказал еще: — Я спрячу эту бумажку у себя. Через полтора года, если не раньше, у нас будет такой маленький толстый бэби. А знаешь, сколько стоит такой бэби? На него уходит не меньше, чем на взрослого человека.

И голубенькие крылышки вспорхнули на этот раз в самые его глаза.

— Я бы хотела, чтобы это был мальчик. Мы бы назвали его Фрицем в честь нашего кронпринца.

И он ответил, подумав:

— Нет, Бетти, это было бы несправедливо. Мы назовем его Артур, в честь герр Изъединова.

И два голубеньких крылышка сложились, два голубеньких крылышка и маленький горячий ротик прильнули покорно к его руке, к его мужественной руке, над которой дымился синий дымок сигары.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ THE MONDIAL DENT ХОРОШО
ЗАРАБОТАЛ.

XXI. К представителю The Mondial Dent утром в контору пришел полячек. Полячек был, как все полячки, в воротничке в пять пальцев, над воротничком змеялась головка с двумя усиками, пренебрегающими всеми нациями, у полячка был пиджачек с ватными плечиками и брючки над ботиночками на пуговках. И полячку нужны были зубы, искусственные зубы для панов поляков, которые единственно разве чем могут приравняться к остальным нациям, так это тем, что у них тоже болят и выпадают зубы. А в остальном... О, в остальном!

Пан полячек был представитель нации, которая под европейский шумок отхватила у Германии область, где жили всегда одни немцы, пан полячек прослоил Германию коридором, в котором, как в муфте, немецкие поезда становились польскими, а немецких граждан запирали на пломбу, и немецкие станции тоже были польскими, хотя над станциями было немецкое небо и дул немецкий ветер. И что надо было сделать с полячком представителю? Ему нужно было указать полячку на дверь, ему нужно было сказать полячку, что если поляки отняли у Германии коренной немецкий уголь и теперь распоряжаются им, как своим, то

пусть сидят без зубов, пусть весь мир поразится их безобразию.

Но представитель, который ждал только дня, чтобы взмахнуть коридором над Польшей, — представитель поступил иначе. Партию зубов, партию лучших искусственных зубов фирмы The Mondial Dent. Да, есть как раз такая партия, но цены... И представитель выкрикнул, — не он выкрикнул, а выкрикнули все: и старый Линкольн, который опять полез вверх, и уголь который отобрали поляки, и коридор, которым прослоили они коренную Германию, — 15 тысяч за дюжину! — выкрикнул он и потряс телеграммою, — 15 тысяч за дюжину!

И полячек, полячек, который должен был бежать и вопить, потому что это был настоящий разбой такой же разбой, как германский отобранный уголь, — полячек сел в кресло и попросил показать образцы. Полячек выбрал образцы и не торговался, как истый американец, он дал задаток, он просил не позднее, чем через день, отправить всю партию, он вел себя так, как будто у них не жалкая польская марка, а прочный доллар...

Полтора миллиона в один день! Разве это заработок коммерсанта, а не шибера? А торговать немецким углем, устраивать коридоры — это не разбой? Нет, пусть он платит, пусть все немцы хохочут над поляками, пусть зубные врачи берут в Польше по сто тысяч марок за зуб, за маленький боковой зуб — три миллиона двести за челюсть в 32 зуба...

Представитель The Mondial Dent давал в Лондон телеграмму: он заказывал еще партию, он веселился; он весело шагал по улицам грудью вперед и помахивая тростью; он посмотрел на углу на хорошенькую девочку

в кожаной шляпке и сказал ей сквозь зубы: — Милочка... Он бы мог догнать ее и завязать знакомство, прелестное знакомство с хорошенькой девочкой, если бы он был склонен на уличные знакомства... Нет, он решил весело провести время, как полагается солидному холостому человеку. Он проходит по улице неспеша, он обнадеживает обещающим взглядом не одну дамочку, но это на вечер... А пока — синий сумрак, лиловые дома и золотеют витрины. И он заходит в кафе. Он заходит в русское кафе, где служат русские офицеры. Он заказывает офицеру в белоснежном халатике мокка с двойной порцией сахара. Он садится поближе у окна, чтобы знакомые, проходя, увидали, что вот он сидит, когда все еще корпят на службах, он пьет кофе и рюмочка кюрасо алеет перед ним, потому что у него отличные дела и потому что у него на плечах голова коммерсанта и патриота. Не плохо было бы вечером отправиться на первый в сезоне большой бал вдовцов, — о, на этих балах бывают вдовушки, чуть перезрелые, но сочные как сливы... Но Лоллота! Лоллота, которая, наконец-то, стала ему по средствам, не все же предоставлять иностранцам лучших берлинских женщин... Лоллота из „Желтой Кошки“, самая красивая женщина, о которой все сходят с ума... Лоллота, которая стоит сто тысяч марок — и то это только для немцев, а иностранцы платят дороже; Лоллота не девка с улицы с куриным мозгом, которой все равно: немец ли или американец, — это настоящая женщина.

Представитель допивает свой кофе, он дает оберу пять марок на чай и выходит на улицу. Через час уже танцы, уже нет-нет да пройдут музыканты с коконом инструмента, — через час ударит джаз-банд, а

пока: золотая вывеска кинематографа, гирлянда желтых шаров, — последняя новинка сезона:

„История Ротшильда“, история богатства Ротшильда.

И представитель заходит; он покупает билет, он поднимается в лифте, он засасывается мягким бархатным креслом и смотрит историю Ротшильда. Бедный юноша Ротшильд любит бедную девушку, — но разве возможен брак между бедными? Ему нужно делать карьеру, и он покидает бедную девушку. Вот пример для многих, которые думают, что только б жениться; а чем они будут кормить жену! И Ротшильд отправляется делать жизнь. Вот первая служба, аккуратность и отличное поведение. Порочные женщины соблазняют красивого юношу, но разве он может тратить деньги на женщин, деньги, которые достаются ему с таким трудом? Нет, он копит деньги, он накапливает немного денег — и вот первое дело, первый риск: он принимает заклад, он дает деньги под небольшие проценты. Через несколько дней должник разорен, у должника нет денег выкупить заклад, и драгоценность остается у Ротшильда, драгоценность, которая стоит вдвое дороже залога... И вот уже — второй заклад и третий, вот уже многие солидные купцы идут к удачливому юноше, и всем он дает деньги в рост... Он открывает свое маленькое дело, его начали узнавать приезжие, именитые люди состоят его должниками. С каждым днем богатеет Ротшильд, он снимает себе большой дом, большой дом с балконом, и самый богатый негоциант в городе не прочь выдать за него свою дочь, И вот — первый раз

Ротшильд в доме негоцианта, вот первая встреча молодых людей, смущение девушки... Ротшильд делает предложение, Ротшильд становится самым богатым человеком в городе. Только недавно давал он деньги в рост под залог, а теперь у него лучшая банкирская контора, весть о его богатствах разносится далеко, о нем узнает сам король. Старый негоциант умирает; старый негоциант оставляет Ротшильду все свое состояние, — Ротшильд владеет всем городом, его выбирают в почетные граждане... А дела короля, между тем, все хуже: долги растут, вассалы разорены, управляющий приносит счета, но у короля нет денег, у него есть только фамильные бриллианты... И король решается: он велит запрягать карету, он берет с собой фамильные бриллианты и едет к Ротшильду. И Ротшильд, который недавно лишь пешком пришел в город, — Ротшильд принимает, как равный, короля в своем доме... Ротшильд слушает короля, он смотрит печально на разложенные фамильные бриллианты. Он качает головой, он открывает стеной потайной шкаф и достает мешки с золотом.

— Здесь все мое состояние, — говорит он, — возьмите его, ваше величество, и доставьте мне радость сознанием, что я оказал помощь моему королю. Ротшильду не нужен залог, ему достаточно одного королевского слова, которое дороже всех бриллиантов в мире.

И вот тогда... тогда происходит то, о чем не думал никто в этой зале, тогда происходит то, о чем только может мечтать человек: король встает, король протягивает Ротшильду руку, король говорит:

— Благодарю вас, барон Ротшильд.

И когда возникает свет, когда в мягких матовых полукругах, вделанных в потолок, возникает леденцо-

вый свет, — вся толпа, вся толпа, осевшая в креслах, вздыхает одним вздохом:

— Колоссаль!

Представитель The Mondial Dent вечером в „Желтой кошке“ сидит на винных местах. Он отпивает вино; уже прошло одно отделение с женским боксом, где эти толстые бабы так славно тыкали друг друга кожаными кулаками в мясистые животы, уже продекламировал рассказчик стихи о великой Германии, о великой непобедимой Германии, — и вот, и вот — за славную песенкой, которую подпевал весь зал, — Лоллота, Лоллота со своими волшебными танцами, Лоллота, которая впервые ввела эту моду — только короткие юбочки, только юбочки — и ничего более, ничего под ними... Лоллота, о которой только смеют вздыхать даже самые солидные коммерсанты, — а вот он, представитель The Mondial Dent, — он не вздыхает, он выбирает у продавщицы две мохнатые белые астры и посылает их на эстраду, он блестит тремя золотыми зубами, и боковой золотой зубок сняет ему в ответ. И все смотрят на него, метр-д'отель проходит мимо него балансируя, женщины из-за столиков вскидывают на него глаза, музыканты в оркестре покачиваются с инструментами, прижатыми к груди, как дорогие бабы, в его сторону, — сегодня он лучший гость, и даже негр, выбивавший чечеткой пыль из эстрады, раздирает черную рожу белым оскалом — ему, представителю The Mondial Dent, его гению коммерсанта.

Представитель пьет с Лоллотой вино, — ему одному, словно йстому американцу, принадлежит право пить с ней вино и смотреть ей в глаза, и для него одного сиянье золотого зубка, этого маленького золотого зубка, который как драгоценная застежка в жемчуж-

ном обхвате. Он говорит оберу, он говорит оберу так пренебрежительно, что разом складывается на-двое тот, как складной аршинчик:

— Одну бутылку seckt, — говорит он. — Только не вадумайте дать французское. Одну бутылку немецкого seckt!

И Лоллота смотрит на него восхищенно, Лоллота, которую угощали американцы настоящим французским seckt, — она смотрит на него восхищенно, потому что это не девка с куриным мозгом, которой все равно кто ее угощает, а настоящая немецкая женщина, которая понимает, что ее угощает и будет иметь с ней дело не какой-нибудь шибер или иностранец, а настоящий положительный человек. И они пьют seckt, они чекаются стаканчиками, и он видит близко теплую межу ее напудренной груди, он говорит нетерпеливо:

— Но теперь уже пора ехать, неправда-ли...

И она отвечает:

— Конечно, если вы хотите...

— Если он хочет, о!..

И она говорит еще:

— Я сейчас-же вернусь, — она говорит это с обворожительной улыбкой: — Я сейчас же вернусь...

И вот — еще запах пудры и духов и золотая игра в бокале лучшего немецкого seckt, и пустое теплое кресло, — представитель пускает дымок, он следит за синим колечком, как следят все вокруг за синим колечком: метр-д'отель и буфетчица за баром-буфетом, и публика... Синее колечко тянется, вянет, и пока вянет синее колечко, пока допивает мечтательно вино представитель, — говорит Лоллота в конце коридора,

где шумит в уборных вода, говорит Лоллота у женской уборной музыканту, тому самому музыканту, который кланялся вместе со скрипкой представителю,—она говорит музыканту:

— Не забудь покормить ребенка. Ты опять спеленаешь его так, что у него будут голые ноги. Я должна трудиться, как лошадь, а ты не можешь даже как следует спеленать ребенка.

И муж отвечает ей:

— Пожалуйста, не выдумай снова глупостей. Это не какой-нибудь герр гехеймрат, чтобы брать с него дешевле, это такой же шибер, как и все другие... И не возвращайся утром, я не могу всю ночь возиться с ребенком. Я тоже-таки достаточно поработал.

И опять теплый запах свежих духов, опять сияет золотой зубок, и говорит Лоллота прямо в три золотых зуба представителя:— Я готова,—а когда говорит, чуть прильнув горячим локтем, женщина:— Я готова...—представитель вонзает в пространство, он вонзает в пространство не хуже любого американца:— Герр обер, счет!

Представителю The Mondial Dent pikkolo подает пальто, прочный башмак вместе с шелковой туфелькой ступают с красной ступеньки на ступеньку—и вот полукруг спящих такси, такси, которые стали так сумасшедше дороги. Но если выходишь с красивейшей женщиной, с лучшей женщиной,—и мохнатый шоффер пускает мотор, мохнатый шоффер так ласково распахивает дверку, в оконце кареты несутся бары, бары, варьетэ.. В оконце кареты могут увидеть американцы красивейшую женщину, которую увозит он, представитель The Mondial Dent, не какой-нибудь шибер, а настоящий солидный человек, который говорит золотому зубку—

поверх нырнувшего в мех маленького подбородочка,— он говорит золотому зубку положительно, как подобает положительному, испытанному человеку:

— Не нужно-ли где-нибудь остановить мотор?.. Я разумею, имсешь ли ты с собой все необходимое, чтобы оберечь себя от последствий. Я не какой-нибудь шибер или иностранец, которому все равно,— я понимаю, что из-за отсутствия мер предосторожности для женщины могут быть последствия. А если мы, немцы, не будем заботиться о наших женщинах,— уж не будут ли заботиться о них иностранцы?

И тогда золотой зубок в щели двух мягких душистых губок над теплым пушистым мехом,— золотой зубок сияет так нежно:

— Благодарю вас, вы так заботливы. Не стоит останавливать мотор. У хозяйки пансиона всегда все найдется, она очень предусмотрительна.

И представитель говорит: — О! — О! — говорит он, он наклоняется к прелестным губкам, и прелестные губки чуть набухают для поцелуя, для поцелуя, который волшебю протягивается в дымном свете фонарей и золотых всплесках баров, варьетэ и кафэ, летящих навстречу и рассекающих друг-друга.

СМЕРТЬ ТЕТКИ АМАЛИИ.

XXII. И в одно сырое утро, когда из туч повалил косой, мокрый снег, — в это сырое утро, сквозь которое плепали по льдыстым лужам и кисельному насту прохожие, пришел к чиновникам в серое здание в цилиндре с траурной лентой портной Гуго Клаус. Он был торжествен и печалец, он пришел за свидетельством, чтобы предать торжественно и печально земле еще одну ее добычу — Амалию Клаус, его, Гуго Клауса, тетку, Амалию Клаус, достойнейшую женщину, которая могла бы еще жить и жить сверх своих 63 лет, если бы не эти дьявольские ветры, которых никогда прежде не было и которые несли теперь жителям инфлюэнцу, насморк и грипп.

Морской сквозняк дул над Берлином, морской сквозняк, неизвестно откуда взявшийся и гнавший тучи с косым мокрым снегом. А ведь это лишь в Лондоне холодносердые англичане хоронят в стеклянном автомобиле без провожатых, чтобы не портили провожатые себе аппетита и нервов видом разверстой могилы и прощанием с гробом. Нет, лучшее агентство похоронных процессий заберет гроб в стеклянный автомобиль и пришлет на завтра отличную мраморную урну с пеплом или доставит удобный

семейный мотор для поездки на кладбище, где могила посыпана уже красным песком и обложена дерном.

Но Гуго Клаус не холодно-сердый англичанин, и у жены его, слава Богу, тоже есть еще сердце, — вместе через снег и туман едут они на трамвае, и люди в трамвае сторонятся, чтобы не измять круглый прекрасный венок, который висит у него через руку. И все кругом видят, что это уважаемые люди хоронят дорогую тетку, потому что дело Гуго Клауса закрыто до трех часов дня, потому что катафалк, который везет черный гроб, — прекрасный катафалк скромного 3-го разряда, в котором хоронят все солидные и бережливые люди.

На кладбищенской башне бьет колокол мерно, и в порядке придавлены могилы камнями и мрамором по строгому плану, который висит у ворот.

И в три часа дня, когда все уже кончено с теткой Амалией, открывает Гуго Клаус свое дело. Уже снова нижут воздух иглами подмастерья, и приходят уважаемые покупатели позвать его, Гуго Клауса, руку и выразить соболезнование. Да, конечно, он убит своим горем, тетка Амалия могла бы еще жить и жить, если бы не этот сумасшедший сквозняк, — но дело продолжается: живым людям нужны смокинги и пальто, им нужно перелицовывать костюмы и утюжить брюки, — и он, Гуго Клаус, как суровый капитан, уже снова на своем посту, хотя на сердце его, может быть, и скребут кошки...

И идут дни, снег проходит, снова сух и пепельно-сер город, морской сквозняк пронесся к Ла-Маншу и дует вдоль побережья. Спит прочным сном Амалия Клаус под сто первым номером в девяносто втором ряду, уже выметена чисто и прибрана золотою женою

Гуго Клауса ее комната и девическая постель Амалии Клаус под перинами со свежими простынями, — ибо была Амалия Клаус девицей...

И раз, когда стоит за прилавком, как капитан, в своем деле Гуго, а золотая жена его в переднике сметает пылинки и чистит до блеска медные ручки дверей, в этот дневной час дребезжит вдруг необычный звонок в квартире Гуго Клауса, и видит жена его у дверей молодого человека, отлично одетого, и видит она девицу, которая прячет лицо в недорогой белый мех.

— Извините, — говорит молодой человек, — извините, это у вас можно получить комнату?

— Комнату? — Фрау Клаус поднимает брови. — Комнату? Нет, пока еще не сдает она комнат. Молодой человек, наверно, ошибся.

— Да, я, вероятно, ошибся, — говорит молодой человек. Он снимает шляпу и хочет уйти, и девица в белой горжетке ступает уже на ступеньку... И тогда говорит вдруг фрау Клаус, — не фрау Клаус говорит, а ее золотой разсудок говорит:

— Комнату? Вам для одного нужно комнату?

— Нет, всего на пару часов, чтобы поговорить с кухней, — отвечает молодой человек. — Кухня только что приехала из провинции, и мы хотели бы поговорить о разных семейных делах...

— О, — говорит вдруг фрау Клаус, — о, если только на пару часов и если дама — ваша кухня...

Да, это кухня, которую он не видел три года.

— У меня нашлась бы такая комната, — говорит в раздумьи фрау Клаус, — и если на пару часов...

И она ведет молодого человека с девицей в комнату тетки Амалии, где все уже прибрано и стоит ее

девическая постель под периной со свежими простынями, и на стене кайзер с семьей, такой еще полный и веселый кайзер...

— Вот, — говорить ффрау Клаус, — здесь сможете вы поговорить спокойно, и никто вам не мешает. Но только до пяти комната свободна, только до пяти, господин доктор... вы, наверно, господин доктор?

— О, — говорит молодой человек.

Лучше для порядка, если он деньги уплатит вперед. Всего три тысячи марок. Зато почти в центре и полная тишина. А если ффрейлейн кузина устала с дороги и хотела бы отдохнуть, — и ффрау Клаус снимает с девической постели тетקי Амалии тюлевое покрывало, она открывает постель и взбивает подушки...

И молодой человек с кузиной остаются вдвоем. В пять они уходят. В пять ффрау Клаус спускается вниз и покупает в мясной лучшие мясные сосиски. И в семь, когда, наконец, возвращается сам Гуго Клаус, когда возвращается он после дня труда в свой дом, видит он стол, на котором все, как для праздника, и лучшее темное пиво в его толстой любимой кружке...

— Лотти, — говорит он, — что все это значит, Лотти?

И она отвечает ему, она отвечает, как может только ответить золотая жена:

— Благодари тетю Амалию, если бы не ее комната, разве мы могли бы позволить себе все это...

И она рассказывает о молодом человеке и о кузине, она говорит, что ей стало так жаль молодых людей, которым негде даже поговорить, а ведь комната тети Амалии пустует, она совершенно не приносит никакой пользы... А разве самые уважаемые люди не сдают

комнат теперь, когда жизнь стала так трудна, разве жена герр гехеймрата не сдала комнаты иностранцу?

И Гуго понимает: он понимает, какое золотое сердце у жены и какой золотой разсудок, — с такой женой не пропадешь, о, никогда не пропадешь, раз она все так умеет взвесить...

И молодой человек с кузиной приходят на другой день в два часа. Он платит три тысячи марок и уходит в пять часов ровно, — а еще через день приходит кузина с другим человеком, пожилым, но тоже солидным, и еще через день приходит пожилой человек с солидной дамой, наверно, из хорошего общества... И когда проходит уже за неделей другая, фрау Клаус говорит раз мужу:

— Но ведь нельзя же всех людей, Гуго, заставлять встречаться лишь днем... не все люди имеют днем свободный часок.

И Клаус отвечает:

— Конечно. Поступай так, Лотти, как ты находишь нужным, но выбирай только солидных людей.

И солидные люди приходят в одиннадцать вечера, иногда они приходят слегка навеселе, но всегда пристойно и тихо, они тихонько скрипят ступеньками лестницы, и в одиннадцать, чтобы могли они войти в дом, гуляет фрау Клаус с собачкой у дома, с собачкой, у которой такой холодный и черный носик, как трюфель. И солидные люди идут за собачкой, они поднимаются по лестнице, как тени, и их никто бы никогда не увидел, — а если бы и увидел, то разве самые уважаемые люди, вроде вдовы герр гехеймрата не сдают теперь комнат, когда жизнь стала так трудна!.. И мешали они кому-нибудь в доме или причиняли беспокойство?

Но разве может даже самая золотая голова все предвидеть?

И раз, когда гуляла фрау Клаус с собачкой у дома, вернулся раньше со службы Дрешер, самый тот Дрешер, с которым двенадцать лет жил Гуго Клаус душа в душу и с которым вышел весь этот спор из-за желтых занавесок из настоящего довоенного шелка, самый тот Дрешер, который не посмотрел даже в окно, когда выносили тетю Амалию и не пришел выразить соболезнования...

И Дрешер сказал, он так и сказал ехидно:

— Поздно вы стали гулять с собачкой, фрау Клаус.

И, может быть, если бы она первая пошла бы ему навстречу, если бы она сказала что-нибудь вроде того:—Ах, Дрешер, Дрешер, не пора ли помириться с Гуго, если уж постигло его такое горе...—или если бы она даже ничего не ответила,—все было бы лучше. Но разсудок покинул вдруг золотую ее голову, и она сказала, она резко сказала ему:

— Последите лучше за своей дочкой, когда она возвращается домой по ночам...

И вот отсюда-то все и случилось, что лег Дрешер спать в этот вечер не в 10, как каждый день,—это он приоткрыл слегка дверь и увидел, как идут за фрау Клаус девица в белой горжетке и молодой человек,—и это он первый сказал в доме хозяину Штиллеру и булочнику Киршенфельд, и вдове Брейман—он им сказал:

— Теперь-то понятно, откуда так богатеет Клаус.. от одной кройки штанов не разбогатеешь, если нет жены, которая по ночам пускает с улицы девок,—он так и сказал:—девок с улицы,—словно она не пускала только испытанных, солидных людей...

И это он составил заявление в полицию, что в доме есть нахтлокаль, у него, портного Гуго Клауса, в квартире нахтлокаль, и это он собрал подписи под заявлением и булочника Киршенфельда, и вдовы Брейман, и это по его заявлению пришли два агента в штатском, которым в долг пришлось шить пальто... Он испортил Гуго Клаусу все дело, так что чуть не пришлось выезжать из дома, в котором жил он двенадцать лет,—и вот тогда впервые усомнился Гуго Клаус в том, что у жены его золотой рассудок, он пришел в свое дело, он сорвал прекрасную шелковую занавеску еще довоенной выработки и сказал жене:

— Убери отсюда эту желтую тряпку, я не хочу больше видеть эту тряпку, — он решительно сошел с ума,—и все это из-за одного словечка, из-за одного только словечка, которое всегда висит на кончике женского языка, какой бы золотой рассудок женщина ни имела...

И в этот вечер впервые не вернулся домой Гуго Клаус как обычно, он шагал ночью, зыбкий, как тростинка, он шел по улицам и нырял, он измазал себе спину о стены и долго мазал бы еще, если бы девица в белой горжетке не подхватила бы на углу его под руку и не повела бы с собой в другой пансион вдовы герр гехеймрата, где тоже была отличная постель под периной, не хуже постели тетки Амалии Клаус, и где фрау гехеймрат жила в дружбе со всеми жильцами.

БЕРЛИН — ПАРИЖ — ЛОНДОН —

БЕРЛИН — РИГА — РОССИЯ.

XXIII. Две телеграммы летели друг другу вослед, две телеграммы пронесли друг-за-другом, как две подстреленные птицы. Они пролетели по русским заснеженным проводам, вспорхнули перед телеграфистом в Риге и дальше понесли на Берлин и на Лондон по подводному кабелю. В телеграммах были только справки, одни только справки о ценах, но тотчас же, прочитав телеграммы представитель банка, объединявшего заводы рыбных консервов, стал кричать в трубку, он кричал: Zentrum... Zentrum... allo,— и в ответ трубка гудела, как пожарный рожок, трубка гудела, что Zentrum занят, пока, наконец, не клюнула барышня, у которой был ангельский картавый голосок... Барышня с картавым голоском зацепила Zentrum, барышня накинула крючечек на номер представителя консорциума банков, и в ухо представителя понесли слова телеграммы, слова, которые означали, что ввоз рыбных консервов в Россию запрещен. Ввоз рыбных консервов запрещен в Россию, немедленно прекратить скупку акций синдиката, которая началась в связи с возможностью

переброски в Россию громадных партий... Allo! Allo Zentrum...

Телефонные рожки гудели: Zentrum... Zentrum...! Pfalzburg... Steinplatz в телефонных проводах, в телеграфном подводном кабеле началась чехарда телеграмм, мачты радио вспыхивали синеватым огнем, на мачтах радио, как огни св. Эльма, зажигались синеватые искры... Вторая телеграмма раненой птицей пролетала на Лондон, торговые справки цен на ноябрь слагались дешифром: спущены три ледокола, три ледокола в петербургском порту, провели уже три германских парохода с грузом... Лондон телеграфировал радио, Лондон телеграфировал радио в Москву:

„Немедленно заключать сделки Москве“, — в Лондоне консорциум банков соглашался на условия Прокопова, акции рыбного синдиката, бешено выбрасываемые на рынок, стали лететь вниз... Акции сталелитейных заводов понеслись вверх; банк, не успевший спустить акции рыбного синдиката, лопнул в одно утро. Продавцы утренних газет неслись с веерами:

— Новые перспективы промышленности... три германских парохода вошли в петербургский порт... Спущены три ледокола, три мощных ледокола... освобождение германских товаров от транзитных пошлин.

Союз баварских маслоделов тоже посылал телеграмму: экспорт лучшего маргарина в обмен на коровье масло, но только обмен, только торговые сношения — и ничего более. Не впускать больше русских, довольно русских в Германии, для торговых сношений есть телеграф и воздушная почта.

В этот день чехарды, несшейся по проводам телеграфов и телефонов, вспыхивающих на мачтах радио, закруживших на бирже, где опять ненадолго старый

Линкольн утомленно спустился пониже,—в этот день когда рвали из рук продавцов утренние и вечерние газеты кондуктора трамваев, газетчицы и мясники — все говорили, что марка опять пошла вверх,—в этот день Невтонов, сам как сумасшедшая телеграмма, носился по городу, вытирал мокрый лоб в таможене вокзала, где грузил добытые бесценные сокровища в голубых и желтых обложках, в картонных папках и прочных переплетах с кожаными корешками, с золотыми обрезами: то, что отхватил у великого запада для русских аудиторий, где у всех глаза, как пыльный глаз птицы или черепахи, замкнувшие в себе десятилетия.

Он вез книги, он был в хлопотах, он спешил, чтобы вот-вот не раздумали все эти розово-улучшенные люди и не отняли у него сокровищ. Но носильщики были синеглазы и добродушны, у них были тоже утомленные и недоедающие лица, потому что за годы войны они отучили себя постепенно есть, и теперь почти совсем отучились. И розовый чиновник в потертом пиджаке был так же равнодушен к книгам, он искал лишь сигар и белья.

Невтонов тридцать пять дней подряд рылся в книгах, изучал, делал пометки, он погружался в безмерные глубины, и теперь спешил увести награбленное, пока никто еще не спохватился. И в пансионе Stella он заявил, что уезжает ненадолго в провинцию, он окружил свой отъезд тайной, но белопенная крыса знала все наперед, она была умная крыса, правда, неомоложенная, — она учтиво-смирненно раскинула перед ним счет, в котором было все напоследок: и простыни, которых он не менял, и штейер для иностранцев из стран с высокой валютой, и три стакана

горячей воды,—и еще, и еще, потому что крыса была мудрая и потому что она знала, что он увозит бесценные знания, а если эта дикая страна будет все знать, будет столько же знать, сколько знают улучшенные люди Запада,—тогда—о!

И Невтонов вечером поднялся к перрону, к перрону, где несло уже ветром просторов, ветром востока, к перрону, к которому принесся из бездны через двадцать минут черный экспресс. Он постоял пять минут, заглотнул пассажиров, багаж и ринулся дальше, весь замкнутый гармониями переходов, жаркий и бархатно-красный, с розовым проводником в светлых пуговках и с глазками синими, как глаза Лореллеи. Он скрестился на следующей станции с дубовым экспрессом Берлин—Париж—Лондон, теплым и освещенным, летевшим на запад, к Атлантике. Они постояли минуту друг подле друга, окна к окнам, разминулись, и экспресс, летевший к востоку, понесся чугунными мостами над городом. А внизу была обычная жизнь, под огненными буквами варьете стояли цепи моторов, тупо уставясь в лоский асфальт желтыми бычьими глазами, ползли по шнурочкам двух рельсов вагончики трамваев, толпа забредала в кафе и кучилась у афиш, словно не над ней летел поезд в туман, на восток, где снег и Россия. И мостами неся в обратную сторону встречный экспресс на запад, где блеск огней беспокойный Париж и старый, туманный Лондон.

Поезд влетел в разрез дома, проскочил вдоль прокопченных стен и больше уже не возник город, он остался позади, он раз только вздыбился за поворотом цепями огней, зеленоватым дыханием и льющимся золотом вывесок. Дальше был прусская тьма, туманы, за которыми переделами коридоров великой Литвы

и великой Латвии, у простора Балтийского моря, лежала в курчавой кудели снегов Россия. В темноте за окном понеслись джентльмены с папиросками, они прикуривали на лету друг-у-друга, обгоняли друг-друга, разбегались в тьму прусских полей, пока не скутились золотыми гирляндами.

КРАСНЫЙ ФЛОТ ВЫШЕЛ В МОРЕ.

XXIV. Телеграмма о трех ледоколах пришла в Ригу вечером. В Риге был уже снег. Снежной вязью бульваров, звенящая колокольчиками извозчиков Рига вставала, брошенная на перепутьи к Европе, готико-снежной игрушкой и обвешенная флагами посольств, представительств и консульств, как рождественская пушистая елка.

В Риге телеграмма о ледоколах разорвалась гранатой, гончие, высунув языки, понеслись к бирже, где козлом поскакал кверху веселый старичок Линкольн. В Латвии гудели провода, экономические комиссии назначали экстренные совещания. Спуск ледоколов, сношение с Европой лишь морем, только морем, без транзитных пошлин и виз. Но если без транзитных пошлин, если товары пойдут только морем и путешественники будут садиться только на пароходы, за чей же счет содержать тогда представительства. железные дороги — великое перепутье к Европе?

Старый Линкольн лез вверх, гончие сбили с ног, в Зилупе была задержана женщина с тюком литературы, женщина, которая была простой вагонной уборщицей. Националисты предъявили запрос министерству, какие меры предполагает оно предпринять, про-

паганда усиливается, необходимо увеличить пограничные отряды. Промышленники делали запрос, что думает предпринять министерство в связи со спуском трех ледоколов, не полагает ли оно, что пора повысить пошлины и фрахт, пока еще есть возможность. Из Америки министерствам в Эстонии, в Латвии в Польше, в Литве пришла телеграмма, обещающая дружественную поддержку в момент, когда Америка найдет это для себя удобным.

Гончие после дня гонки слетелись в кафе Атэ, против которого недалеке кудрявился Александровский парк и стоял заснеженный памятник Майкапару... Гончие сообщали:

„Предвидится дальнейшее падение. По негласным сведениям, Красный флот вышел в Балтийское море и идет в неизвестном направлении... Возможна бомбардировка“.

Мориц Фишман из кафе летел домой, он влетел на третий этаж, он кричал:

— Вы спите... вы всегда спите, мамахен! Вы изволите спать, когда красные бомбардируют Ригу. Ключи! Ключи от магазина! Необходимо попрятать ценности.

Ювелиры с ключами ночью бежали к магазинам, националисты объединились с промышленниками и делали новый срочный запрос министерствам, что намерены они предпринять в связи с угрожающей опасностью. На границы были посланы новые отряды войск. Вдоль Балтийского побережья дул морской сквозняк, вздувавший сальные чрева, перекатывавшиеся друг через друга. Сквозняк несясь вдоль берегов, влача снег и холод, он задел боком Литву, засыпав ее снегом, и пронесся через границу на Берлин, неся

инфлюэнцу и грипп и рассыпаясь мокрыми хлопьями в которых закружились улицы, трамваи и мокрые зонты прохожих, засыпая аллеи Тиргартена, и только один мертвый Потсдам стоял несокрушимо со своими стеклянными крышами и зелеными конями, да у пустынного Морского Министерства на набережной жались в шинели два старичка-генерала, словно никогда не было великой и непобедимой Германии, а были одни старички-генералы, инвалиды, поющие песни вдоль стен, да во дворе старая больная шарманка, хрипящая сквозь хлопья о днях былой славы...

И Невтонова пронесло через снежную Ригу, перекинуло в русский вагон, где два окна были разбиты и в уборной из бака лилась на пол вода, с дамами, которые к русской границе все пухли и пухли, словно собирались на великосветский бал, шлепали через лужи уборной в новеньких поразительных туфлях шурша тройными юбками и стиснутые вязаным шелком, дамы, которые были в научных и сложных командировках: с американскими журналистами, ходившими по вагону без воротничков и в подтяжках...

От окон дуло русскими ветрами, несущимися над латвийскими полями, над которыми лежал русский снег, бездольным унынием снежных кочек и перелесков, где звучала еще полевая русская песня... И так же неслышимо, как из черной литовской тьмы вошел поезд в латвийскую тьму, дополз он до одной снежной станции, где стояли в каскетках и галунах пограничники, постоял час и дальше пополз, мимо снежной русской деревушки в частокоче мелких елок, засыпанных снегом, за которой так же неслышимо подполз белый столб, где шлемами и птыками, носильщиками в тулупах и пограничным кордоном в шинели

лях с черными нашитыми ребринами — означалась Россия

Там, позади, в всхлипах балтийского сквозняка, осталась Европа — в золоте витрин, взлетающих поездах, блеске голубого асфальта. Здесь начиналась Россия — трудная, в снегу и могилах.



БЕЗ НАЗВАНИЯ.

(Заключительная).

XXV. Утром сквозь осень, сквозь туманы и рев осени, приходит тяжелый морской пароход. Утром над гаванью, в туман и мгу осени, вздымается подъемный кран, простирая над бьющимся морем свой ценный гигантский ~~вызов~~. Утром пароход входит в рейд и причаливает медленно. Над пароходом льющийся красный флажок, пароход тяжело осел от груза щетины и льна; с парохода сходят крепкие обветренные люди в кожаных и шагают деловито, те же самые люди, которые чинили и швартовали старое русское судно, собирали с необъятных русских полей лен, скупали в русских деревнях, где петровская поросычья грязь и хлюп, черные избы и лучинные песни, — щетину; чинили разломанные паровозы, как чинили фабрики, как спускали на воду после трех лет мертвого ледяного затишья ледоколы.

И обветренные же люди, которые изо дня в день грузили и разгружали пароходы, шли им навстречу и тоже улыбались белозубо, потому что делали то же дело, что и они, то же дело, что и все рабочие в Дувре и Гамбурге, Нью-Йорке и Бриндизи, — осна-

щали смоляными канатами, грузили, чинили и строили, пока картонными кубиками строился мир на конференциях, в комиссиях, в лигах, в Гааге, в Версале, в Женеве, в Лозанне и Лондоне.

И туманным же утром спускались люди в бетонное недро, перепавшее мутные улицы города, вдоль которых в тумане спали еще магазины, и только первые утренние поезда топотали по железным мостам, освящая день трудовой гарью. В бетонном недре пять лет войны, революции, конференций неустанно копошились голые люди, обливая брюхо земли на десятилетия цементом, пролагая рельсы, укрепляя чугунными балками землю, по которой беспечно ходили люди, знакомились с женщинами, играли на бирже, обедали в ресторанах и курили сигары в кафе, развлекались в мюзик-холлах и барах, пламеня от аперитивов, подпевая модные песенки, кружились в фокс-тротте и жимми, ту-степе и лан-степе; земля, на которой распевали у стенок безногие герои войны, — Марны, Вердена, — которым никто не бросал в шапки денег; земля, по которой умные собаки с красным крестом проводили в толпе ослепших от взрывов и газов, собаки, которые были милосерднее людей, спешащих по своим делам мимо, людей, покупающих газеты, карабкающихся на крыши омнибусов, торопящихся поспеть за несущейся сумасшедшею жизнью.

И так же, как спускались в бетонное недро одни голые люди, так другие голые люди, у которых тоже ничего не было, а были только упрямые лбы, — голые люди в сыром ледянистом доке копошились вдоль бортов ледокола. Четыре года он стоял, как мертвый ихтиозавр, гния и ржавея, — и теперь снова счищали ржу с его заржавленных легких, красили и стучали, меняли

части, копошились, как глисты, в гигантском брюхе,— и вот уже горячим дыханием согревались холодные легкие, вот уже снова, сотрясая все его чудовищное тело, задрожали машины, горячее дыхание зверя клубилось над ледяными просторами. Он сползал медленно по гигантским балкам, готовым рассыпаться, — он сполз медленно в ледяную стылую воду и тяжело пошел, прямо к ледяным молочным просторам, взрезая их сальные глыбы, раскалывая их пополам и ведя за собой в рукаве черной воды послушный пароход.

Он провел его медленно в тот холодный морской простор, где всегда живое течение, где переклик ветровых голосов, несущихся вдоль морских берегов к океаническим просторам,— и дальше пустил его одного, как утка утенка, — вслед ветрам, несущим из России вдоль кривых берегов Балтийского побережья сквозняк и снег на Атлантику.

Берлин — Москва.

Январь, 1923.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	СТР.
I. Сквознячек	5
II. Господин Мориц Фишман	13
III. Этнография	23
IV. Трудный день.	26
V. Авраам Линкольн.	31
VI. И география	36
VII. Торговый дом „Друг хозяйства“	40
VIII. Конец географии	52
IX. Телеграммы... только телеграммы	56
X. Бетти	64
XI. Желтая занавеска.	70
XII. Консорциум	77
XIII. Черепаха	82
XIV. Кафе Кристалль	86
XV. Чудо XX века	91
XVI. Праздник	95
XVII. Карминные губки	104
XVIII. Верхом на оси	109
XIX. Экстренное совещание	115
XX. Князь Из'единов и гусь	123
XXI. Представитель The Mondial Dent хорошо зара- ботал	133
XXII. Смерть тетки Амалии	142
XXIII. Берлин-Париж-Лондон — Берлин-Рига-Россия	149
XXIV. Красный флот вышел в море	154
XXV. Без названия (заключительная)	158

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„ПОВЕСТИ О МНОГИХ ДНЯХ“. — Издательство „Огоньки“
Берлин. 1922.

„МЫШИНЫЕ ВУДНИ“.	}	Издательство Л. Д. Френкеля. Москва. 1922.
		Издательство „Геликон“. Берлин. 1922.